



МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

Юмористические рассказы



Библиотека всемирной литературы (Эксмо)

Михаил Зощенко

Юмористические рассказы

«ЭКСМО»

1935-1955

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Зощенко М. М.

Юмористические рассказы / М. М. Зощенко — «Эксмо»,
1935-1955 — (Библиотека всемирной литературы (Эксмо))

ISBN 978-5-04-107297-1

Михаил Зощенко (1894–1958) известен в первую очередь как писатель-сатирик, автор необыкновенно смешных рассказов и фельетонов. Его персонажи неоднозначны: с одной стороны наивные, даже простодушные, однако подчас способные и унижить, и оскорбить, а порой и убить, особенно если дело касается их собственности. И тем не менее, они вызывают поистине гомерический хохот. В эту книгу кроме избранных рассказов писателя вошел цикл новелл «Голубая книга», который он называл «краткой историей человеческих отношений», где рассказы о современности чередуются с рассказами о прошлом.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-107297-1

© Зощенко М. М., 1935-1955
© Эксмо, 1935-1955

Содержание

Печальный гений смеха	6
Рассказы	10
Аристократка	10
Жертва революции	12
Жених	14
Собачий нюх	16
Любовь	18
Диктофон	20
Китайская церемония	22
Счастье	24
Альфонс	26
Семейное счастье	28
Обезьяний язык	30
Теперь-то ясно	32
Крестьянский самородок	34
Мещанство	36
Нервы	37
Стакан	38
Утонувший домик	40
Сильное средство	41
Четыре дня	42
Дамское горе	44
Режим экономии	45
Бешенство	46
Монтер	47
Прелести культуры	49
Лимонад	51
Суэта суэт	52
Хиромантия	53
Много ли человеку нужно	55
Драка	57
Операция	58
Веселенькая история	60
Больные	62
Иностранцы	63
Землетрясение	65
Врачевание и психика	67
Западня	71
Грустные глаза	74
Водяная феерия	76
История болезни	79
Голубая книга	82
Предисловие	83
Деньги	85
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Михаил Михайлович Зощенко

Юмористические рассказы

© Зощенко М.М., наследники, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Печальный гений смеха

Михаил Михайлович Зощенко происхождением своей фамилии обязан слову «зодчий» – архитектором был один из его предков, итальянец, работавший в России. Совершенным итальянцем был Зощенко и внешне: темноглазым южанином-брюнетом с оливковой кожей. Родившись в Петербурге, прожившим жизнь в Ленинграде, умершим в Сестрорецке (под Ленинградом) и там же похороненным – хоронить в Ленинграде власти не позволили.

Партийным постановлением 14 августа 1946 года Зощенко и Ахматову вывели за пределы советской литературы. Был ли там Зощенко вообще? «Состоял» ли он в ней?

Полагаю, что нет.

Полагаю, что всем тем, что он написал, он ставил себя *за ее пределы*. Как внешний ее наблюдатель и комментатор.

Впрочем, не только и не столько советской литературы, но и советской жизни.

Он был живым инструментом, погруженным в ее раствор, реагирующим и регистрирующим ее проявления. Несмотря на то что начиная с 1922 года у него один за другим выходили все новые сборники рассказов, несмотря на то что в 1929–1932 годах уже появляется шеститомное (!) собрание его сочинений, несмотря на то что рассказы и фельетоны Зощенко в 20-х годах печатаются в журналах «Красная новь», «Огонек», «Мухомор», «Смехач», «Пушка», «Бегемот», «Чудак», «Ревизор»; что в 30-е годы он плодотворно работает для театра, а в 1939 году за писательскую деятельность получает орден Трудового Красного Знамени, – считаю, что *советским* писателем Зощенко не был, и реакция официоза – постановление – на него и Ахматову и последующее исключение из Союза *советских* писателей были логичными и правильными.

Сам Зощенко воспринял это как оскорбление, как смертельную рану – не смог *отстранить* себя психически от происходящего (как смогла это сделать поэт с большей душевной стойкостью – Ахматова).

На встрече с английскими студентами в 1954 году (уже после смерти Сталина!) Зощенко заявил, что он не согласен с постановлением. Последовала новая волна травли. И психически, и физически Зощенко ее уже не выдержал.

Да, инструмент эпохи – и тончайший!

Он начинал не как пересмешник – в 1919-м ходил в студию при издательстве «Всемирная литература» к Корнею Чуковскому, уже тогда маститому, – как литературный критик. Но когда он прочел вместо доклада пародию – вот это был успех! С 1921-го он свой среди сообщества «Серрапионовых братьев».

В богатейшей натуре Михаила Михайловича Зощенко удивительно сочетались различные методы художественного исследования реальности. Артистической реакцией Зощенко на реальность были одновременно смех и слезы, улыбка и печаль, радость и страдание, острое переживание счастья с не менее острым и болезненным переживанием горя.

Первые рассказы и фельетоны необыкновенно смешны.

До сих пор, несмотря на опережающее «серьезную» словесность развитие эстрадных жанров (вплоть до Жванецкого и Шендеровича, его явных и единственных пока литературных наследников и продолжателей), никто не *пересмешил*, не обошел по смеховой части.

Вторая половина его деятельности необыкновенно печальна. Откровенно говоря, уже с «Сентиментальных повестей» читателю временами становилось грустно: истории заканчивались печально, мотив смерти был преобладающим.

Социально-смешное, пародируемое с энергией зощенковской молодости соединялось с метафизически-лирическим. В одном флаконе – это и была зощенковская уникальная смесь, навсегда отдавшая ему сердца читателей и навсегда отвратившая от него диктатора и его испол-

нителей. *Чуждость* Зощенко не только режиму, но самому *новому советскому человеку* в его проявлениях была очевидна – в том числе и советской официозной литературной критике, с самого начала преследовавшей и «разоблачавшей» его.

И в самом деле.

Если внимательно прочитать – лучше вслух!

Не только диалоги, сам язык рассказчика примечателен, как зуб золотой во рту у *аристократки*, – Зощенко описывает вполне наивно, как бы действовал художник-примитивист, вполне наивных и даже простодушных персонажей. Монстров и монстриков? Да нет, вроде бы совсем обыкновенных. Но с монструозным, до времени скрытым в них потенциалом. Способны и убить (за собственность), придушить, унижить, оскорбить. И способны – любить и страдать. Только очень по-своему.

Персонажи Зощенко при всем вызываемом ими спазматическом хохоте не могли прибавить самому писателю оптимизма и душевного веселья. Напротив. Чем больше их набиралось, тем тяжелей был душевный перегруз. То, что Зощенко принял за проблему собственной психики и чему он посвятил поздние свои книги, на самом деле было его человеческой, художественно-эмоциональной реакцией на свое собственное авторское продуцирование/освоение, смесь реального с ирреальным, на зеркало, схожее с абсурдистским полотном.

Путь Зощенко – это путь все возрастающей сложности (с одной стороны) и насильственного самоупрощения (с другой).

Первоначальные персонажи – все-таки скорее одно-, чем многоклеточные.

Персонаж-объект был при этом и самовыражающимся, – и это, собственно говоря, мало на что влияло. Например, в «Аристократке» самовыражение и самого рассказчика (я), и его «аристократки» идет через языковые особенности персонажа типового зощенковского лит-строительства: «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках». Социальный язык персонажа превалирует, если вообще не подавляет индивидуальный. То же самое можно заключить при внимательном прочтении всего лишь одной реплики «аристократки»: «Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездят с дамами».

В «Сентиментальных повестях» картина меняется: интерпретация человека у Зощенко уходит от персонажа-объекта к персонажу-субъекту. Чем дальше, тем больше приоткрывается форточка, а потом и окно, а потом и дверь в персонажные психологические *внутренности*.

Ничего разоблачительного (в отличие от первых рассказов и фельетонов) в «малогероической книге», как сказано в первом предисловии масочного псевдоавтора И. В. Коленкова, здесь нет. Коленков – обращая внимание читателя – предупреждает: «Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, *во всей его неприглядной красе*» (курсив мой. – *Н. И.*). И правда – Зощенко в «Сентиментальных повестях» жалеет персонажей И. В. Коленкова, проза коего «зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой».

В следующем, тоже масочном «Предисловии ко второму изданию» некто К. Ч. (не Корнея ли Чуковского, своего первого «руководителя семинара», Зощенко вспомнил?) как бы пытается оправдать псевдоавтора перед читателем. Да, Коленков родился в «мелкобуржуазной семье дамского портного», поэтому либерален и сентиментален. Но «принадлежащий к правому крылу попутчиков», он теперь под руководством М. М. Зощенко «перестраивается и, вероятно, в скором времени займет одно из видных мест среди писателей натуральной школы».

И тем не менее – в «Предисловии к третьему изданию» – уже второй псевдокомментатор, *С. Л.*, перекладывает ответственность за «галерею уходящих типов» на самого Коленкова. А в «Предисловии к четвертому изданию» сам *Мих. Зощенко* уведомляет непонятливых критиков, что «выдвиженец» И. В. Коленков – для которого характерны «неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия» – «есть, так сказать, воображаемое лицо. «Литературный прием»! И нечего критикам замахиваться на «беззащитного писателя».

Каждая из «Сентиментальных повестей» заканчивается трагически.

Забежкин, главный герой повести «Коза», ошибся – хотел жениться на предполагаемой хозяйке козы, а все оказалось сложнее: и коза не ее, и со службы уволили: «Так погиб Забежкин». В «Аполлоне и Тамаре» погибают и красавец-тапер Аполлон Перепенчук, и нежно любимая им Тамара. В «Мудрости» сначала удаляется от людей, уединяется, а потом, решив к ним вернуться, внезапно умирает красавец с южным темпераментом Иван Алексеевич Зошенко.

И так далее.

А повесть «Люди»? Не повести, а все какие-то *реквиемы!*

Как замечает проницательный повествователь, на самом деле явно и очевидно полемизирующий с рапповскими, потом соцреалистическими идеями о «положительном герое наших дней» в ракурсе «светлого будущего»: «...нет! Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе в современном героическом плане и говорить не приходится.

Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно не существующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии.

Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов, за которыми все будущее русской изящной литературы».

Этими «реквиемами», а также масками авторов предисловий, тщательно завернутыми «матрешками» литераторов-персонажей Зошенко одновременно и прячет себя, и хочет искупить уже осознаваемую им как писателем вину за *разоблачение* человека-клише в ранних рассказах.

Ему не простили ни первого, ни второго.

Зошенко пытался спасти положение и выправить ситуацию – сначала исследующей неврозы «Возвращенной молодостью» (1933), затем «Историей одной жизни» (1934) – о *перековке* личности в условиях сталинского лагеря (строительство Беломорско-Балтийского канала), потом «Голубой книгой» (1934–1935), идею которой подал М. Горький... Переписывает в советско-конъюнктурном стиле сюжеты «Бедной Лизы» и проч. знаменитых вещей. Увы.

Поэтому за оглушительным официальным разгромом книги «Перед восходом солнца» (1943), книги, которой предшествовали попытки вписаться в советскую драматургию, последовали публикации *детских* рассказов («Приключения обезьяны», «Ленин и часовой») – попытка вписаться в кажущуюся безопасной советскую *детскую* литературу.

Вот тут и подстерегал Зошенко окончательный сталинско-ждановский приговор – и отлучение.

Рассказчик, фельетонист, прозаик, неудавшийся драматург и детский писатель... вынужден был зарабатывать деньги художественным переводом – с языков, которых не знал.

Непреходящее счастье читателя – что Зошенко существует.

Правда, он сам о посмертной судьбе своего наследия никак не догадывался.

И это самое печальное послевкусие по прочтении его прозы.

Итак, эта книга состоит из трех частей.

В первую вошли знаменитые зошенковские рассказы.

Во вторую – «Голубая книга».

В третьей части напечатаны повести «Перед восходом солнца», «Мишель Синягин» и «О чем пел соловей».

Таким образом, Зошенко представлен разными сторонами своего таланта – и в развитии, в динамике. В пышном букете рассказов и рассказиков – удивительное разнообразие персонажей, уникальный человеческий зоопарк реакций, эмоций, поступков, поведенческих «ляпов».

Зоопарк? Может быть, лучшим определением будет *кунсткамера*, или *энциклопедия* нового быта нового белкового образования *homo soveticus*. Человека, поставленного в определенные – послереволюционные, нэповские – условия? И – человека, в котором все эти проявившиеся качества уже были заложены.

В «Сентиментальных повестях» и «Мишеле Синягине» и человек и пейзаж меняются. Человек, во-первых, – вырастает из себя прежнего и очень грустит по этому поводу. Человек в «Повестях» – существо теряющее, старорежимное, уходящая натура. И вот эта терпкая, щемящая интонация преобразует даже советский пейзаж (это во-вторых). А в-третьих, здесь возрастает авторская печаль, – и о человеке, и о пейзаже грустит автор. Его меланхолия переходит в тоску – впрочем, вряд ли ее замечали хохочущие над вроде бы смешными сюжетными коллизиями читатели-современники.

Что же касается «Возвращенной молодости», то здесь впервые Зоценко ставит свою главную метафизическую, философскую проблему, в которую отныне и до конца упрется его сознание. Вот как он формулирует свою цель во вступлении («Автор приносит свои извинения»). «Это повесть о том, как один советский человек, обремененный годами, болезнями и меланхолией, захотел вернуть свою утраченную молодость». Зоценко отмечает, что эта его повесть «на этот раз мало похожа на обычные литературные вещицы», «мало также похожа и на наши прежние художественные вещицы, написанные наивной, грубоватой рукой в спехе нашей молодости и легкомыслии», – он даже изобретает для данного сочинения такое жанровое определение, как *культурфильм*. Как вернуть себе молодость? Герой вернул! В наши реальные дни торжества материализма! Соперничая, «как до революции говорили, с самим господом богом».

Переделка человека – и морально-политическая, и даже физиологическая – одна из главных тем советской литературы конца 20-х – начала 30-х годов. Зоценко – на самом деле – всем своим *культурфильмом* говорит о том, что насилием над своим возрастом никакой молодости не вернешь – финал у повести явно искусственный, а настоящий сюжет обрывается *инсультом* того, кто хотел преодолеть старость *на любовно-курортном фоне*.

Зоценко сопровождает повесть комментариями – на мой взгляд, это и есть интереснейшее чтение и свидетельство об авторе, который разрывается между тем, что он хочет быть «полезным в той борьбе, какую ведет наша страна за социализм», и тоской по поводу собственного ухудшающегося здоровья. Руководство над своим телом и своей психикой, как *старался* думать Зоценко, поможет стать «полезным» в борьбе «за социализм».

Не получилось.

Никакие волшебные рекомендации и рецепты, никакое самолечение, никакая психотерапия не спасли.

«Борьба за социализм» настигла и физически уничтожила самого автора, тяжело болевшего, отказавшегося, как и Гоголь в последние недели, от пищи.

Осталась изумительная, драгоценная проза.

Пепел и алмаз.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Рассказы

Аристократка

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:
– Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

– Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера?

– Я, – говорит, – из седьмого.

– Пожалуйста, – говорю, – живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

– Да, – отвечает, – действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц – привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше – больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что шука. И чего сказать – не знаю, и перед народом совестно. Ну а раз она мне и говорит:

– Что вы, – говорит, – меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, – говорит, – как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

– Можно, – говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой – внизу сидеть, а который Васькин – аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я – на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу – антракт. А она в антракте ходит.

– Здравствуйте, говорю.

– Здравствуйте.

– Интересно, – говорю, – действует ли тут водопровод?

– Не знаю, – говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю:

– Ежели, – говорю, – вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

– Мерси, – говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня – кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег – с гулькинос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

– Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

– Нет.

И берет третье.

Я говорю:

– Натощак – не много ли? Может вытошнить.

А она:

– Нет, – говорит, – мы привыкшие. – И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

– Ложи, – говорю, – взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

– Ложи, – говорю, – к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

– Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно – ваньку валяет.

– С вас, говорит, за скушанные четыре штуки столько-то.

– Как, – говорю, – за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

– Нету, – отвечает, – хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

– Как, – говорю, – надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно – перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят – надкус сделан, другие – нету.

А я вывернул карманы – всякое, конечно, барахло на пол вывалилось – народ хохочет.

А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги – в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

– Докушайте, – говорю, – гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

– Давай, – говорят, – я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

– Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездют с дамами.

А я говорю:

– Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

Жертва революции

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

– Заживают, – с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. – Ничего не поделаешь – седьмой год все-таки пошел.

– А что это? – спросил я.

– Это? – сказал Ефим Григорьевич. – Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут... Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой – я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

– Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив – я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

– Нет.

– Ну, так вот... У этого графа я и служил. В полотерах... Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать – только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

– Иди, – говорит, – кличут. У графа, – говорит, – кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу – и к ним.

Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты.

Гляжу – сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

– Ах, – говорит, – Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные бриллиантами?

– Что вы, – говорю, – что вы, бывшая графиня! На что, – говорю, – мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, – говорю. – Извините за выражение.

А она рыдает.

– Нет, – говорит, – не иначе, как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

– Я, – говорит, – чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, – говорит, – это дело я так не оставлю. Руки, – говорит, – свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, – говорит, – отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два – пишу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг – на пятый день – как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы это, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

– Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я – и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит... Ну, ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

– Чего тут происходит?

– А это, – говорят, – мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я – ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу:

– В кувшинчике, – кричу, – часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в ту минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

«Ну, думаю, есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

– Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит – тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод – хозяйский.

1923

Жених

На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом – никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он невероятно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха.

– Так как же ты, Егорка, сватался-то? – спрашивали мужики, подмигивая.

– Да так уж, – говорил Егорка, – обмишурился.

– Заторопился, что ли?

– Заторопился, – говорил Егорка. – Время было, конечно, горячее – тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.

– Ну, – говорю я ей, – спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, – говорю, – до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

– Медицина, – говорит, – бессильна что-либо предпринять. Не иначе, как помирает ваша бабочка.

– От какой же, – спрашиваю, – болезни? Извините за нескромный вопрос.

– Это, – говорит, – медицине опять-таки неизвестно.

Дал все-таки лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа – не помогает. Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее – тут и носить, тут и косить, а без бабы невысказано. Чего делать – неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в местечко. Хожу по знакомым.

– Время, – говорю, – горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, – говорю, – среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, – говорю, – женитьбой.

– Есть, – говорят, – конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, – говорят, – к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю – сидит на сундуке баба и ногу чешет.

– Здравствуйте, – говорю. – Перестаньте, – говорю, – чесать ногу – дело есть.

– Это, – отвечает, – одно другому не мешает.

– Ну, – говорю, – время горячее, спорить с вами много не приходится, вы да я – нас двое – третьего не требуется, окрутимся, – говорю, – и завтра выходите на работу снопы вязать.

– Можно, – говорит, – если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу – бабочка ничего, что надо, плотная и работать может.

– Да, – говорю, – интересуюсь, конечно. Но, – говорю, – ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

– А лет, – отвечает, – не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать – не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

– Ну, – говорю, – время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.

– Нет, – говорит, – не вру, за вранье Бог накажет. Собирайтесь, что ли?

– Да, – говорю, – собирайтесь. А много ли имеете вещичек?

– Вещичек, – говорит, – не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали. Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает – как жить будет да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить – три года не хожено.

Наконец приехали.

– Вылезайте, – говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает – боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу-ты, думаю, глупость какая!

– Что вы, – говорю, – бабочка, вроде бы хромаете?

– Да нет, – говорит, – это я так, кокетничаю.

– Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, – говорю, – в хозяйстве хромать не требуется.

– Да нет, – говорит, – это маленько на левую ногу. Полвершка, – говорит, – всего и нехватка.

– Пол, – говорю, – вершка или вершок – это, – говорю, – не речь. Время, – говорю, – горячее – мерить не приходится. Но, – говорю, – это немисливо. Это и воду понесете – расплескаете. Извините, – говорю, – обмишурился.

– Нет, – говорит, – дело заметано.

– Нет, – говорю, – не могу. Все, – говорю, – подходит: и мордovorот ваш мне нравится, и лета – одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините – промигал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она мне раз или два по морде – не считал, а после и говорит:

– Ну, – говорит, – стручок, твое счастье, что заметил. Вези, – говорит, – назад.

Сели мы в телегу и поехали.

Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

«Время, – думаю, – горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развозить невест по домам».

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом прыгнула. А я повернул кобылку – и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

Собачий нюх

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

– Шуба-то, – говорит, – больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища – коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону – и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пускает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

– Да, – говорит, – попалась. Не отпираюсь. И, – говорит, – пять ведер закваски – это так. И аппарат – это действительно верно. Все, – говорит, – находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

– А шуба? – спрашивают.

– Про шубу, – говорит, – ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное – это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побелел управдом, упал навзничь.

– Вяжите, – говорит, – меня, люди хорошие, сознательные граждане. Я, – говорит, – за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И тербит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

– Виноват, – говорит, – виноват. Я, – говорит, – это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, – думает, – за такая поразительная собака?»

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

– Уводи, – говорит, – свою собачищу к свиньям собачьим. Пушай, – говорит, – пропадает енотовая шуба. Пес с ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

– Ну, – говорит, – бог правду видит, если так. Я, – говорит, – и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, – говорит, – братцы, не моя. Шубу-то, – говорит, – я у брата своего зажил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих – кто подвернулся – и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.

– Кусайте, – говорит, – меня, гражданка. Я, – говорит, – на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше – неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

1923

Любовь

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

– Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете... Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать можно по морозу...

– Нет, – сказала Машенька, надевая калоши. – И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

– Так я вспотевши же, – говорил Вася, чуть не плача.

– Ну, одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

– Ах, какая вы беспокойная дамочка, – сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. – Не будь вы, а другая – ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

– Вот вы смеетесь и зубки скалите, – сказал Вася, – а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу...

– Да бросьте вы, – сказала Машенька, – посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

– Да, замечательная красота, – сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. – Действительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства... Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку – ударюсь.

– Ну, поехали, – сказала Машенька не без удовольствия.

– Ей-богу, ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

– Ей-богу, – снова сказал Вася, – хотите вот – брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать...

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.

– Ах! – закричала Машенька. – Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

– Что разорались? – тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.

Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

– Ну, ты, мырма, – сказал человек глухим голосом. – Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь – стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

– Па-па-па, – сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?

– Ну! – Человек потянул за борт шубы.

Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

– И сапоги тоже сымай! – сказал человек. – Мне и сапоги требуются.

– Па-па-па, – сказал Вася, – позвольте... мороз...

– Ну!

– Даму не трогайте, а меня – сапоги снимай, – проговорил Вася обидчивым тоном, – у ей и шуба и калоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

– С ее снимешь, понесешь узлом – и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

– У ей и шуба, – снова сказал Вася, – и калоши, а я отдувайся за всех...

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

– Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься – пропал.

Понял, сволочь? И ты, дамочка...

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез.

Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.

– Дождались, – сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. – Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

– Караул! Грабят!

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

1924

Диктофон

Ах, до чего все-таки американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы «жиллетт», вращение Земли вокруг своей оси – все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчастливлено человечество – подарили американцы миру особую машину – диктофон.

Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что.

Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку.

Масса народу собралась посмотреть на эту диковинку.

Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в ту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно: масса винтиков, валиков и хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению.

Ах, Америка, Америка, – какая это великая страна!

Когда машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам.

– Кто из вас, – сказал Константин Иванович, – желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?

Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин, Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду получающий жалованье плюс за сверхурочные.

– Дозвольте, – говорит, – мне испробовать.

Разрешили ему.

Подошел он к машинке не без некоторого волнения, долго думал, чего бы ему такое сказать, но, ничего не придумав и махнув рукой, отошел от машины, искренне горюя о своей малограмотности.

Затем подошел другой. Этот, недолго думая, крикнул в открытый рупор:

– Эй, ты, чертова дура!

Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует, и что же? – доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова.

Тогда восхищенные зрители наперерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг. Машинка послушно записывала все в точности.

Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалованье по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу.

Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор и даже топнул ногой, но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из соседнего дома бывшего черноморца – отчаянного ругателя и буяна.

Черноморец не заставил себя долго ждать – явился.

– Куда, – спрашивает, – ругаться? В какое отверстие?

Ну, указали ему, конечно. А он как загнет – аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел – дескать, здорово пущено, это вам не Америка.

Засим, еле оторвав черноморца от трубы, поставили валик. И действительно, аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись.

Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстие на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки: хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком – машинка действовала безотлагательно.

Тут действительно все увидели, насколько велико и гениально это изобретение.

Единственно только жаль, что эта машинка оказалась несколько хрупкая и не приспособленная к резким звукам. Так, например, Константин Иванович выстрелил из «нагана», и, конечно, не в трубу, а, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела – и что же? – оказалось, что машинка испортилась, сдала.

С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются.

Впрочем, заслуга ихняя все же велика и значительна перед лицом человечества.

1925

Китайская церемония

Удивительно, товарищи, как меняется жизнь и как все к простоте идет.

Скажем, двести лет назад тут, на Невском, ходили люди в розовых и зеленых камзолах и в париках. Дамы этакими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи...

Теперь, конечно, об этом и подумать смешно, ну а тогда эта картина была повседневная.

А впрочем, братцы, и над нами посмеются лет через сто.

Вот, скажут, как нелегко было существовать им: мужчины на горлах воротнички этакие тугие, стоячие носили, дамы – каблучки в три вершка и корсеты.

И верно: смешно. Да только и это уж уходит и ушло.

Все меняется, все идет к простоте необыкновенной.

И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях.

Раньше для того, чтобы жениться человеку, приходилось ему делать черт его что. И смотрины-то он делал, и свах зазывал, и с цветками по пять раз в сутки хаживал, и папашу невесты уламывал, и мамашу улещивал, и теткыны ручищи целовал, и попу богослужение заказывал... тьфу!

Ну а теперь это куда как проще. Небось сами знаете... Полфунта монпансье, тары да бары, комиссариат – и все довольны.

Да, братцы мои, все меняется. И лишь одно не меняется, лишь одно крепко засело в нашей жизни – это китайская церемония.

Думаете какая? А вот какая. Чего мы делаем при встрече? При встрече-то, братцы мои, мы за ручку здороваемся, ручки друг другу жмем и треплем.

А смешно! Вот, братишки, берите самый большой камень с мостовой и бейте меня этим камнем по голове и по чем попало – не отступлюсь от своих слов: смешно. Ну вот так же смешно, как если бы при встрече мы терлись носами по китайскому обычаю.

И мало того, что смешно, а и не нужно и глупо. И драгоценное время отнимает, ежели встречных людишек много. И в смысле заразы нехорошо, небезопасно.

Эх-хе-хе, братишки! Глупое это занятие – при встрече руку жать!

Конечно, бывали такие люди, делали они почин – не здоровались за руку, но только ничего из того не выходило. Не время было, что ли...

Как помню я, братцы мои, лет этак десять назад приехал один немчик в Россию. По коммерческим обстоятельствам. Ну, немчик как немчик – ноги жидкие, ушишки, вообще, нос.

И была у этого немца манеришка – не здороваться за руку. Так, рыльцем кивнет, и хватит.

И задумал он такую манеришку привить России. Прививал он, прививал, месяц и два, а на третий заскочило.

Привели раз немца в «Коммерческий» – знакомиться с Семен Саввичем, с кожевником, с сенновцем.

Ну – здрасте, здрасте... Немец рыльцем кивнул, а Семен Саввич хлесь его в личность.

– Ты что ж, говорит, бульонное рыло, не здоровкаешься? Гнушаешься?

Ну, ударил. Немчик – человек сентиментальный – заплакал. Лепечет по-ихнему: гобль, гобль...

А купчик официанта кличет.

– Дай-ка, – говорит, – братец, ему еще раз по личности, я, – говорит, – тебе после отдам.

Ну, официант развернулся, конечно, – хлесь обратно.

Немец чин-чином с катушек и заблажил: гобль-гобль.

Чего дальше было – неизвестно. Известно только, что прожил немец после того в России месяц и уехал в Испанию. А перед отъездом знакомому и незнакомому первый протягивал руку и личность держал боком.

Вот какая это была история.

Но, конечно, это было давно. И другие были тогда обстоятельства. И жизнь другая. И до того, братцы мои, другая, что, на мой ничтожный взгляд, только сейчас и подошло время отменить китайские церемонии.

А ну, братцы, начнем. Небось теперь по личности никто не хлеснет... А я начну первый. Приду, скажем, завтра к дяде Яше. Здорово, скажу, брат. А руки не подам.

Чего дядя Яша со мной сделает – сообщу, братцы мои, после.

1924

Счастье

Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.

С тех пор как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.

Иные шуточкой на это отделяются – дескать, живу – хлеб жую. Иные врать начинают – дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.

И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.

– Счастье-то? – спросил он меня. – А как же, – обязательно счастье было.

– Ну, и что же, – спросил я, – большое счастье было?

– Да уж большое оно или оно маленькое – неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось.

Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.

– А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите родила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.

Ну а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сiju и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.

И только я так подумал – слышу разные возгласы. Оборачиваюсь – хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не позволяет сесть.

– Нету, – кричит, – вашему брату солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.

А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.

– Я, – кричит, – такой же, как и вы. Желаю за столик присесть.

Ну, посетители помогли – выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло. И теку.

А стекло зеркальное – четыре на три, и цены ему нету.

У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.

– Что ж это, – кричит, – граждане! Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье – два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, и без стекла посетители обижаются.

А посетители действительно обижаются:

– Дует, – говорят, – из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.

Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.

– Я, – говорю, – любезный коммерсант, стекольщик.

Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:

– А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?

– Нету, – говорю, – любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.

– Что ты, – говорит хозяин, – объелся? Садись, – говорит, – обратно за столик и пей чай. За такую, – говорит, – сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются – дескать, темно и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

– Я, – говорит, – на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.

Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.

Прибегаю в стекольный магазин – магазин закрывается. Умоляю и прошу – впустили.

И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску – пять, итого сорок.

И вот стекло вставлено.

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после – рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь – на них пей, хочешь – на что хочешь.

Эх, и пил же я тогда. Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

– Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьешко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было.

Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.

Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было.

Впрочем, может, я не заметил.

1924

Альфонс

– Папаша мой, надо сказать, был торговцем, – сказал Иван Иванович Гусев. – При царском режиме папаша торговали в Дерябинском рынке... Ну а теперича через эту папашу мне форменная труба получается. Потому не приткнуться. Не берут в государственную службу. Что касается свободных профессий или там какого отхожего промысла, то этого тоже не горазд много.

Мне вот случилась на днях работишка, вроде отхожий промысел, – не сумел воспользоваться.

А промысел этот предложила девица одна. Кет – заглавие. Соседка. Рядом жили.

Так – ее комната, а так – моя. А перегородка тоненькая. И насквозь все слышно: и как девица домой к утру является, и как волосики свои на щипцах завивает, и как пиво пьет, и как с кавалерами на денежные темы беседует. Все насквозь слышно, только что выражения лица не видать.

А раз утром девица встала и стучит кулаком в стенку.

– Эй, – говорит, – мон шер, нет ли у вас спичек?

– Как же-с, – отвечаю через стенку, – есть. Я, – говорю, – хотя и безработный и питаюсь не ахти как, но, – говорю, – спички есть. Взойдите.

Является. В пенюаре, в безбелье, и туфельки кокетливо надеты на босу ногу.

– Здравствуйте, – говорит. – Мне завиться нужно, а спичек-то и нет. Я, – говорит, – сейчас верну вам ваши спички.

– Да уж, – говорю, – пожалуйста. Я, – говорю, – человек безработный, без образования, мне, – говорю, – не по карману спичками швыряться.

Слово за слово – разговорились.

– На какие шиши, – спрашиваю, – живете и почем за квадратную сажень вносите?

А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмысленно.

– Раз, – говорит, – вы человек безработный и голодуете, то, – говорит, – могу вам от чистого сердца работишку предоставить.

– Какую же, – спрашиваю, – работишку?

– Да, – говорит, – альфонсом.

– Можно, – говорю, – объяснитесь, – говорю, – короче.

– А очень, – говорит, – просто. Ежели, – говорит, – я в ресторан одна явлюсь – мне одна цена, а ежели я с мужчиной и мужчина вроде родственника, то цена мне другая и повышается. Вот, – говорит, – мы и будем вместе ходить. Вместе придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь: ах, дескать, Кет, у меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час придете. Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться?

– Только и всего? – спрашиваю.

– Да, – говорит. – Принарядитесь только получше. Пенсне на нос наденьте, если есть. Сегодня мы и пойдем.

– Можно, – говорю, – работа не горазд трудная.

И вот к вечеру оделся я. Пиджак надел, свитер. Пенсне на нос прилепил – откуда-то она достала. И пошли.

Входим в ресторанное зало. Присаживаемся к столику. Я говорю:

– Дозвольте очки снять. Ни черта, с непривычки, не вижу и могу со стула упасть.

А она говорит:

– Нет. Потерпите.

Сидим. Терпим. Жрать нестерпимо хочется, а вокруг жареных курей носят, даже в носу щекотно.

А она мне шепчет в ухо:
– Пора, – говорит, – уходите.
Я встаю, двигаю нарочно стулом.
– Ах, – говорю, – Кет, я тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня, – говорю, – может, родная мама захворала. Вы тут посидите. Я за вами приду.
А она головой кивает, дескать, ладно, катитесь.
Снял я очки и вышел на улицу.
Полчаса походил по улице, замерз как собака, губа на губу не попадает.
Возвращаюсь назад. Гляжу: сидит моя девица за столиком, палец-мизинец отодвинула и жрет что-то. А рядом буржуй к ней наклонился и шепчет в ушную раковину.
Подхожу.
– Ах, – говорю, – вот и я. Не пора ли, – говорю, – Кет, нам с вами домой тронуться?
А она:
– Нет, – говорит, – Пьер, я, – говорит, – еще посижу немного со знакомой личностью.
А вы идите домой.
– Ну, – говорю, – как хотите. Я и один пойду.
Потоптался я, потоптался, а уходить неохота. И жрать к тому же хочется это ужасно как.
– Вот, говорю, я сейчас пойду, только, – говорю, – присяду на минуточку по-родственному и как альфонс. Замерз как собака.
Она мне глазами мигает, а мне ни к чему.
Посижу, думаю, и уйду. Не посижу, думаю, ихние стулья.
Сел и сижу. А буржуй сконфузился и перестал шептать.
Я говорю:
– Вы не стесняйтесь... Я ейный родственник, шепчитесь себе на здоровье.
А он:
– Помилуйте, – говорит, – не желаете ли портеру выкушать?
– Можно, – говорю. – Отчего, – говорю, – родственнику портеру не выпить.
Выпил я портеру и захмелел вдруг – с голоду, что ли. Принялся чью-то котлету есть.
– Не будь, – говорю, – я родственником, не стал бы я эту котлетину есть. Ну а родственнику отчего не съесть? Родственнику глаз да глаз нужен.
– Помилуйте, – говорит буржуй. – Это что за намеки вы строите?
– Да нет, – говорю, – какие же намеки? Тоже, – говорю, – ихнее дамское дело, каждый обмануть норовит. Глаз да глаз нужен.
– То есть, – говорит, – как обмануть? Как понимать ваши слова?
– Да уж, – говорю, – понимайте, как хотите. Мне, – говорю, – некогда объясняться. Мне торопиться надо. А уж вы, будьте любезны, расплатитесь по-настоящему с ней, без обману.
Надел я пенсне на нос, поклонился всем вежливо и вышел.
А теперича девица Кет в морду лезет.
Этак на каждый промысел и морды не напасешься.

Семейное счастье

На днях зашел я к своему знакомому, к Егорову. Он табельщиком на заводе служит. Прихожу.

Сидит хозяин довольный такой за столом, газету читает. Жена рядом шьет что-то.

Увидел меня хозяин, обрадовался.

– А, – говорит, – заходи, дружище, заходи... Поздравляй нас...

– С чем же вас поздравлять, Митрофан Семеныч? – спросил я.

– А как же, – говорит, – с новой жизнью, с новыми переменами, с новыми семейными устоями.

– Не могу догадаться, – сказал я. – Уж не с прибавлением ли семейства?

– Нету, – засмеялся Егоров. – Не то. Не попал в цель... Да ты супругу лично спроси. Это ее больше касается... Гляди, какая она счастливая сидит и шьет... Словно фея... Пущай она сама тебе скажет про свое семейное счастье.

Я посмотрел на супругу Митрофана Семеныча. А та улыбнулась этак криво и говорит:

– Ах, да, – говорит, – мы теперь, знаете ли, на кухне бросили стряпать... Без плиты обходимся. В столовую ходим.

– Да-с! – воскликнул довольный хозяин. – Баста! Новую жизнь начали. В болото все – плиту, кастрюли, лоханки... Пущай и баба свободу узнает... Такой же она человек, как и я.

Хозяин долго говорил о несомненных выгодах общественного питания, потом стал смеяться.

– И во всем, представьте себе, выгода и польза от этой перемены. Скажем, гости пришли. Ну, сидят, ждут. Прислушиваются – не подадут ли на стол. А ты им, чертям, объявляешь, между прочим, дескать, а мы, извините, в столовке питаемся. Хотите – идите, не хотите – не надо, за волосы вас не потащим.

Хозяин захохотал и взглянул на свою жену.

– Да, – повторил он, – полная во всем выгода. Время теперь, скажем. Сколько теперь этого самого свободного времени остается! Уйма... Бывало, придет супруга с работы – мечется, хватается, плиту разжигает... Одних спичек сколько изведет... А тут пришла, и делать ей, дуре, нечего. Шей хоть целый день. Пользуйся свободой.

– Это верно, – подтвердил я, – кухня много отнимает времени.

– Еще бы! – с новым восторгом воскликнул хозяин. – Тут по крайней мере пришла с работы и шей, кончила шить – постирай. Стирать нечего – чулки вязать можешь... А то еще можно заказы брать на шитье, потому времени свободного хоть отбавляй.

Хозяин помолчал, потом задумчиво продолжал:

– А в самом деле. Не брать ли тебе, Мотя, заказов? Шитье, скажем... Рубашки там, куртки, толстовки...

– Да что ж, – сказала жена, – отчего же не брать? Можно брать...

Хозяин, видимо, огорчился таким равнодушным ответом.

– «Можно, можно», – передразнил он жену. – Ты, Мотя, всегда недовольна. Другая бы прыгала и скакала, что ее раскрепостили, а ты надуешься, как мышь на крупу, и молчишь... Ведь небось довольна, что не приходится на кухне торчать? Ну, отвечай же гостю!

– Отчего же... Конечно, – уныло согласилась жена.

– Еще бы не довольна! Бывало, целый день ты торчала у плиты... Дым, чад, пар, жар, перегар... Фу... Ну шей, шей, Мотя. Пользуйся свободным временем. Надо же и тебе пожить.

Я посмотрел на хозяина. Он говорил серьезно.

– Послушайте, – сказал я, – а ведь хрен редьки не слаще.

– Что-с? – удивился Митрофан Семеныч.

– Я говорю: хрен редьки не слаще. То кухня, то шитье... А может быть, жене вашей газеты почитать охота? Может быть, ей и шить-то не хочется?

– Ну, уж вы того, – обиделся хозяин. – Как же ей не шить, когда она баба.

Я встал, попрощался с хозяином и вышел. А когда уходил, то слышал, как хозяин сказал жене:

– Недоволен, черт. Обедать ему не дали, так и скулит, желчь свою на людей пушает... А хочешь обедать – иди в столовку, нечего по гостям трепаться... Ну, шей, Мотя, шей, не поднимай зря голову.

1929

Обезьяний язык

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну, взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси – все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой – беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый еще мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

– А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

– Пленарное, – небрежно ответил сосед.

– Ишь ты, – удивился первый, – то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

– Да уж будьте покойны, – строго ответил второй. – Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался – только держись.

– Да ну? – спросил сосед. – Неужели и кворум подобрался?

– Ей-богу, – сказал второй.

– И что же он, кворум-то этот?

– Да ничего, – ответил сосед, несколько растерявшись. – Подобрался, и все тут.

– Скажи на милость, – с огорчением покачал головой первый сосед. – С чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

– Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

– Не всегда это, – возразил первый. – Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и отседа, с точки зрения, то да – индустрия конкретно.

– Конкретно фактически, – строго поправил второй.

– Пожалуй, – согласился собеседник. – Это я тоже допускаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

– Всегда, – коротко отрезал второй. – Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься...

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:

– Это кто ж там такой вышедши?

– Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простер руку вперед и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

1925

Теперь-то ясно

Нынче, граждане, все ясно и понятно. Скажем, пришла масленица – лопай блины. Хочешь со сметаной, хочешь – с маслом. Никто тебе слова не скажет. Только, главное, на это народных сумм не растрчивай. Ну а в 1919 году иная была картина.

В 1919 году многие граждане как шальные ходили и не знали, какой это праздник – масленица. И можно ли советскому гражданину лопать блины? Или это есть религиозный пред-рассудок?

Как в других домах – неизвестно, а в нашем доме в 1919 году граждане сомневались насчет блинов.

Главное, что управдом у нас был очень отчаянный. А с тех пор как он самогонщицу в № 7 накрыл, так жильцы до того его стали бояться – ужас.

И помню, наступила масленица.

Сегодня, например, она наступила, а вчера я прихожу со службы. И кушаю что было. А жена вытирала посуду полотенцем и говорит сухо:

– Завтра, – говорит, – масленица. Не испечь ли, – говорит, – блинков, раз это масленица?

А я говорю:

– погоди, – говорю, – Марья, не торопись, не суйся, говорю, прежде батьки в петлю. Праздник, – говорю, – масленица невыясненный. Это, – говорю, – не 1925 год, когда все ясно. погоди, – говорю, – сейчас сбегая во двор, узнаю как и чего. И если, – говорю, – управдом печет, то, – говорю, – и нам можно.

И выбежал я во двор. И вижу: во дворе жильцы колбасятся. В страшной такой тоске по двору мечутся. И между собой про что-то шушукуются.

Говорю шепотом;

– Не насчет ли масленицы колбаситесь, братцы?

– Да, – отвечают, – смотрим, не печет ли управдом. И ежели печет, из кухни чад, то вроде это декрета – можно, значит.

Вызвался я добровольно заглянуть в кухню.

Заглянул вроде как за ключом от проходного. Ни черта в кухне. И горшка даже нет.

Прибегаю во двор.

– Нету, – говорю, – граждане, чисто. Никого и ничего, и опары не предвидится.

А тут, помню, бежит по двору управдомовский мальчишечка семи лет – Колька.

Поманил я его пальцем и спрашиваю тихо:

– Ребятишка, – говорю, – будь, – говорю, – другом. Есть ли, скажи, опара у вас или не предвидится?

А мальчишечка, дитя природы, показал шиш из пальчиков и ходу.

Отвечаю жильцам:

– Расходитесь, – говорю, – граждане, по своим домам. Масленица, – говорю, – отменяется.

А тут какой-то гражданин с восьмого номера надел пенсне на нос и заявляет:

– И это, – говорит, – свобода совести и печати?!

А я отвечаю:

– Ваше, – говорю, – дело десятое. У вас, – говорю, – интеллигентный гражданин, и муки-то нету. А вы, – говорю, – вперед лезете и задаетесь.

А он:

– Я, – говорит, – не из муки, я, говорит, из принципа.

Я говорю:

– Мне это не касается. Встаньте, – говорю, – назад. Дайте, – говорю, – женщинам видеть.

Ну, разгорелся классовый спор. А баба в споре завсегда визжит. И тут какая-то гражданка завизжала. А на визг управдом является.

– Что, – говорит, – за шум, а драки нету?

Тут я вроде делегатом от масс выхожу вперед и объясняю недоразумение граждан и насчет опары. А управдом усмехнулся в душе и говорит:

– Можно, – говорит, – пеките. Только, – говорит, – дрова в кухне не колите. А что, говорит, касаемо меня, то у меня муки нету, оттого и не пеку.

Похлопали жильцы в ладоши и разошлись печь.

Прошло шесть лет.

А многие граждане и посейчас в тоске колбасятся и не знают, можно ли советскому гражданину блины кушать или это есть религиозный предрассудок.

Не далее как вчера пришла ко мне в комнату хозяйка и говорит:

– Уж, – говорит, – и не знаю... Ванюшка-то, – говорит, – мой – ответственный пионер. Не обиделся бы на блины. Можно ли, – говорит, – ему их кушать? А?

Вспомнил я нашего управдома и отвечаю:

– Можно, – говорю, – гражданка. Кушайте. Только, – говорю, – дрова в кухне не колите и народные суммы на это не растрачивайте.

Так-то, граждане. Лопайте со сметаной.

1925

Крестьянский самородок

Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется – Овчинников. А имя у него было простое – Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или газетку.

– Хотя бы одну штуковину напечатали, – говорил Иван Филиппович. – Охота посмотреть, как это выглядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

– К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу... Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удят, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка... Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

– С рифмами я стихотворения не пишу, – признавался Иван Филиппович. – Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно – один черт, что с рифмой, что и без рифмы.

Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил – не брали...

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

– Ну как? Не берут?

– Не берут, Иван Филиппович.

– Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пуцай не сомневаются – чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были – все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало, даже смех кругом стоит: «Да чего вы, – говорят, – Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, – говорят, – на других...» – «Нет, – говорим, – знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пуцай не сомневаются...

– Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

– Ну, это уж они тово, – возмущался Иван Филиппович. – Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись... Как это не созвучные, раз я сыздетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка... За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пуцай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пуцай хотя одну штуковину возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.

Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И, наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.

– Ага, – сказал я, – поэмку принесли?

– Поэмку принес, – добродушно подтвердил Иван Филиппович, – очень сильная поэмка вышла... Два дня писал... Как прорвало. Удержу нет...

– С чего бы это?

– Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье...

– Вдохновенье! – сказал я. – Стишки пишешь... Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы...

Иван Филиппович оживился и просиял:

– Дайте, – сказал он. – Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти...

– То есть как? – удивился я. – А поэзия?

– Какая поэзия, – сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. – Жрать надо... Поэзия!.. Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти... Поэзия...

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики – поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».

1924

Мещанство

О мещанстве Иван Петрович имел особое мнение. Он крайне резко и зло отзывался об этой накипи нэпа. Не любил он этой житейской плесени.

– Для меня, – говорил Иван Петрович, – нету ничего хуже, как это мещанство. Потому через это вся дрянь в человеке обнаруживается... Давеча, например, я Васькино пальто накинул. За керосином побежал в лавку. Так Васька сразу в морду лезет. Дерется. Зачем ему, видите ли, пальто керосином залил.

– Воняет, – говорит.

– Да брось, – говорю, – ты, Вася, свои мещанские штучки! Ну залил и залил, сегодня я залил, завтра ты заливай. Я с этим не считаюсь. А если, говорю, воняет – нос зажми. Пора бы, – говорю, – перестать запахи нюхать. Мещанство, – говорю, – какое.

Так нет, недоволен, черт сопатый. Бубнит чтой-то себе под нос.

Или, например, хозяйка. Квартиру держит. И чуть первое число наступает – вкатывается в комнату. Деньги ей, видите ли, за квартирную площадь требуются.

– Да что вы, – говорю, – гражданка, объелись? Да что, – говорю, – я сам деньги делаю? Обождите, – говорю, – месяц.

Так нет – вынь да положь ей за квадратную площадь.

Ну да когда старый паразит в мещанстве погрязши, это еще куда ни шло. А вот когда молоденькая в мещанство зарывается – это больно и обидно.

Например, Катюшка из трепального отделения. Довольно миленькая барышня, полненькая. По виду никогда не скажешь, что мещанка. Потому поступки видны, идеология заметна, ругаться по матери может. А поближе тронешь – мещанка. Не подступись к ней.

Давеча в субботу после получки говорю ей запросто, как дорогой товарищ дорогому товарищу:

– Приходите, – говорю, – Катюша, ко мне на квартиру. У печки, – говорю, – посидим. После фильму пойдем посмотрим. За вход заплачу.

Не хочет.

Спасибо ребята срамить начали.

– Да брось ты, – говорят, – Катюшка, свое мещанство. Любовь свободная.

Ломается. Все-таки, поломавшись, через неделю зашла. Зашла и чуть не плачет, дура такая глупая.

– Не могу, говорит, заходить. Симпатии, – говорит, – к вам не ощущаю.

– Э, – говорю, – гражданка! Знаем мы эти мещанские штучки. Может, – говорю, – вам блондины эффектней, чем brunеты? Пора бы, – говорю, – отвыкнуть от мещанской разницы.

Молчит. Не находит чего сказать.

– Пушай, – говорит, – мещанство лучше, а только не могу к вам заходить. В союз пойду жалиться.

Я говорю:

– Да я сам на тебя в Петросовет доложу за твои мещанские штучки.

Так и махнул на нее рукой. Потому вижу, девчонка с головой погрязши в мещанство. И добро бы старушка или паразит погрязши, а то молоденькая, полненькая, восемнадцати лет нет. Обидно.

1925

Нервы

А думается мне, граждане, что женскому классу маленечко похуже существовать, чем нам.

Конечно, за эти слова какая-нибудь ханжа мне может плюнуть в глаза.

– Позвольте, – скажет, – почему такое хуже, раз своевременно *объявлено равенство*?

Эх, братишечки! Берите самый громадный камень с мостовой и бейте меня этим громадным камнем по башке – не отступлюсь от своих слов.

Вчера, например, соседка моя по комнате кинулся стулом в свою супругу.

С благородным негодованием разлетелся я в ихнюю комнату.

– Гражданка, – говорю, – немедленно перестаньте жить с подлецом. Уходите от него.

Она на меня же и взъелась.

– Да ты, – говорит, – что, обалдел? Куда я уйду? К тебе, что ли?

Я говорю:

– Не ко мне. Зачем же, помилуйте, ко мне? Ко мне, – говорю, – не надо. Это, – говорю, – я так отвлеченно выражаюсь.

А она на меня же стулом размахивается. Еле вышел.

Конечно, может, это была слабая женщина. Другие, может, крепче в жизни держатся. И не отступают от своих намеченных идеалов. Только таких-то в своей жизни я встречал маловато. Одну только вот и встретил, Марусю Блохину.

Эта действительно ушла от мужа. И стала самостоятельно жить. И ничего себе жила. Раз только впала в отчаяние. Хотела даже на улицу идти. Да сдержалась. А уж даже брови пробкой намазала, и губы подвела, и блузку эффектную надела. Вышла и стоит у ворот.

И вдруг какой-то к ней хахаль подходит.

Тут у ней сразу и перелом случился.

– Да ты, – говорит ему, – подлая твоя душа, что же это подходишь? Да, может, это порядочная дама вышедши к воротам подышать вечерней прохладой? Да как же, – говорит, – не лопнут твои бесстыжие глаза?

Мужчина несколько оробел и в сторону подался, а она его не пускает. За рукав держит.

– Да может, – говорит, – это та самая дама, которая не отступает от намеченных идеалов? Да, – говорит, – таких подлецов об тумбу головами крошить надо! Ах ты, говорит, подлая твоя морда!

Уж и отвела же она тогда свою душеньку. Хотела по морде его лупцевать, да сдержалась. Дворник Иван сдержал.

Покричала она еще на дворника Ивана немножко и ушла.

Пришла домой, головой тряхнула и думает.

«Нет, – думает, – не отступлюсь от своих идеалов. Проживу как-нибудь. Буду-ка я, например, дамские шляпки делать».

И действительно, стала она дамские шляпки делать. И на рынке их продавала. А материал... А вот насчет материала – черт ее знает, откуда она достала? Не иначе как какой-нибудь добродушный мужчина за спасибо дал.

Эх, братцы, держите камень и бейте меня – не отступлюсь от своих слов: маленечко будто похуже бабам жить. А может, мне это только кажется. Может, это у меня нервы развинтились.

А если нервы развинтились, так везите меня в курорт. Какого черта!

Стакан

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

– Приходите, – говорит, – помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас, – говорит, – не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте, сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

– В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, – говорю, – добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

– Ну, – говорит, – приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать, – шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и коннул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

– Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

– Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

– То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

– Это, – говорит, – чистое разорение в хозяйстве – стаканы бить. Это, – говорит, – один – стакан тюкнет, другой – крантик у самовара начисто оторвет, третий – салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

– Об чем, – говорит, – речь. Таким, – говорит, – гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

– Мне, – говорю, – товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, – говорю, – товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, – говорю, – чай у вас шваброй пахнет. Тоже, – говорю, – приглашение. Вам, – говорю, – чертям, три стакана и одну кружку разбить – и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наибольшее других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

– У меня, – говорит, – привычки такой нету – швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, – говорит, – Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я, – говорит, – щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

– Тьфу на всех, и на деверя, – говорю, – тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

– Нынче, – говорит, – все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, – говорит, – этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

– Я платить не отказываюсь, а только пушай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

– Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

– Передай, – говорю, – своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет – я могу до трибунала дойти.

1923

Утонувший домик

Шел я раз по Васильевскому острову. Домик, гляжу, небольшой такой.

Крыша да два этажа. Да трубенка еще сверху торчит. Вот вам и весь домик.

Маленький, вообще, домишко. До второго этажа, если на плечи управдому встать, то и рукой дотянуться можно.

На этот домик я бы и вниманья своего не обратил, да какая-то каналья со второго этажа дрянью в меня плеснула.

Я хотел выразиться покрепче, поднял кверху голову – нет никого.

«Спрятался, подлец», – думаю.

Стал я шарить глазами по дому. Гляжу, у второго этажа досочка какая-то прибита. На досочке надпись: «Уровень воды 23 сентября 1924 г.». «Ого, – думаю, – водица-то где была в наводнение. И куда же, думаю, несчастные жильцы спасались, раз вода в самом верхнем этаже ощущалась? Не иначе, – думаю, – на крыше спасались...»

Тут стали мне всякие ужасные картины рисоваться. Как вода первый этаж покрыла и ко второму прется. А жильцы небось в испуге вещички свои побросали и на крышу с отчаяния лезут. И к трубе, пожалуй что, канатами себя привязывают, чтобы вихорь в пучину не скинул.

И до того я стал жильцам сочувствовать в ихней прошлой беде, что и забыл про свою обиду.

Вдруг открывается окно и какая-то вредная старушенция подает свой голос:

– Чего, – говорит, – тебе, батюшка? Из соцстраха ты или, может, агент?

– Нету, – говорю, – мамаша, ни то и ни это, а гляжу вот и ужасаюсь уровнем. Вода-то, – говорю, – больно высока была. Небось, – говорю, – мамаша, тебя канатом к трубе подвязывали?

А старушка посмотрела на меня дико и окошко поскорей закрыла.

И вдруг выходит из ворот какой-то плотный мужчина в жилетке и с беспокойством спрашивает:

– Вам чего, гражданин, надо?

Я говорю:

– Чего вы все ко мне пристали? Уж и на дом не посмотри. Вот, – говорю, – гляжу на уровень. Высоко больно.

А мужчина усмехнулся и говорит:

– Да нет, – говорит, – это так. В нашем районе, – говорит, – хулиганы сильно балуют. Завсегда срывали фактический уровень. Вот мы его повыше и приспособили. Ничего, благодаря бога, теперь не трогают. И лампочку не трогают. Высоко потому... А касаясь воды – тут мельче колена было. Кура могла вброд пройти.

А мне как-то обидно вдруг стало вообще за уровни.

– Вы бы, – говорю, – на трубу еще уровень свой прибили.

А он говорит:

– Ежели этот уровень отобьют, так мы и на трубу – очень просто.

– Ну, – говорю, – и черт с вами. Тоните.

1925

Сильное средство

Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой.

Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской.

И действительно, граждане, взять для примера хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Коленгорова. Человек пропал буквально и персонально. И вообще жил, как последняя курица.

По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался.

И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался.

И уж, конечно, за всю неделю никакой культработы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку ходит, пополощется. Вот вам и вся культработа.

Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже.

– Петр, – говорят, – Антонович. Человек вы квалифицированный, не первой свежести, ну, мало ли в пьяном виде трюхнетесь об тумбу – разобьетесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте такое семейное одолжение.

Не слушает. Пьет по-прежнему и веселится.

Наконец нашелся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу:

– Петр, – говорит, – Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя. Ну, – говорит, – попробуйте заместо того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью и билет вам дарма предлагаю.

Петр Антонович говорит:

– Ежели, – говорит, – дарма, то попробовать можно, отчего же. От этого, – говорит, – не разорюсь, ежели то есть дарма.

Упробовал, одним словом.

Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. До того понравилось – уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит и сидит.

– Куда же, – говорит, – я теперича пойду, на ночь глядя? Небось, – говорит, – все портерные закрыты уж. Ишь, – говорит, – дьяволы, в какое предприятие втравили!

Однако поломался-поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу.

На другое воскресенье опять пошел. На третье – сам в местком за билетом сбежал.

И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу – дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг.

А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это был единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью небось поправится и пойдет. Потому – захватило человека искусство. Понесло...

Четыре дня

Германская война и разные там окопчики – все это теперь, граждане, на нас сказывается. Все мы через это нездоровые и больные.

У кого нервы расшатаны, у кого брюхо как-нибудь сводит, у кого сердце не так аритмично бьется, как это хотелось бы. Все это результаты.

На свое здоровье, конечно, пожаловаться я не могу. Здоров. И жру ничего. И сон невредный. Однако каждую минуту остерегаюсь, что эти окопчики и на мне скажутся.

Тоже вот, не очень давно, встал я с постели. И надеваю, как сейчас помню, сапог. А супруга мне говорит:

– Что-то, – говорит, – ты, Ваня, сегодня с лица будто такой серый. Нездоровый, – говорит, – такой у тебя цвет бордо.

Поглядел я в зеркало. Действительно – цвет лица отчаянный бордо, и морда кирпича просит.

Вот те, думаю, клюква! Сказываются окопчики. Может, у меня сердце или там еще какой-нибудь орган не так хорошо бьется. Оттого, может, я и серею.

Пощупал пульс – тихо, но работает. Однако какие-то боли изнутри пошли. И ноет что-то.

Грустный такой я оделся и, не покушав чаю, вышел на работу.

Вышел на работу. Думаю – ежели какой черт скажет мне насчет моего вида или цвета лица – схожу обязательно к доктору. Мало ли – живет, живет человек и вдруг хлоп – помирает. Сколько угодно.

Без пяти одиннадцать, как сейчас помню, подходит до меня старший мастер Житков и говорит:

– Иван Федорович, голубчик, да что с тобой? Вид, – говорит, – у тебя сегодня чересчур отчаянный. Нездоровый, – говорит, – у тебя, землистый вид.

Эти слова будто мне по сердцу полоснули.

Пошатнулось, думаю, мать честная, здоровье. Допрыгался, думаю.

И снова стало ныть у меня внутри, мутить. Еле, знаете, до дому дополз. Хотелось даже скорую помощь вызвать.

Дополз до дому. Свалился на постель. Лежу. Жена ревет, горюет. Соседи приходят, охают.

– Ну, – говорят, – и видик у тебя, Иван Федорович. Ничего не скажешь. Не личность, а форменное бордо.

Эти слова еще больше меня растрavляют. Лежу плоской и спать не могу.

Утром встаю разбитый, как сукин сын. И велю поскорей врача пригласить.

Приходит коммунальный врач и говорит: симуляция.

Чуть я за эти самые слова врача не побил.

– Я, – говорю, – покажу, какая симуляция. Я, – говорю, – сейчас, может быть, разорюсь на трояк и к самому профессору сяду и поеду.

Стал я собираться к профессору. Надел чистое белье. Стал бриться. Провел бритвой по щеке, мыло стер – гляжу – щека белая, здоровая и румянец на ней играет.

Стал поскорей физию тряпочкой тереть, гляжу – начисто сходит серый цвет бордо.

Жена приходит, говорит:

– Да ты небось, Ваня, неделю рожу не полоскал?

Я говорю:

– Неделю, этого быть не может, – тожехватила, дура какая. Но, – говорю, – дня четыре, это, пожалуй, действительно верно.

А главное, на кухне у нас холодно и неудобно. Прямо мыться вот как неохота. А когда стали охать да ахать – тут уж и совсем, знаете ли, не до мытья. Только бы до кровати поползти.

Сию минуту помылся я, побрился, галстук прицепил и пошел свеженький, как огурчик, к своему приятелю.

И боли сразу будто ослабли. И сердце ничего себе бьется. И здоровье стало прямо выдающееся.

1926

Дамское горе

Перед самыми праздниками зашел я в сливочную – купить себе четвертку масла – разговеться.

Гляжу, в магазине народищу уйма. Прямо не протолкнуться.

Стал я в очередь. Терпеливо жду. Кругом – домашние хозяйки шумят и норовят без очереди протиснуться. Все время приходится одергивать.

И вдруг входит в магазин быстрым шагом какая-то дамочка. Нестарая еще, в небольшой черной шляпке. На шляпке – креп полощется. Вообще, видно, в трауре.

И протискивается эта дамочка к прилавку. И что-то такое говорит приказчику. За шумом не слышать.

Приказчик говорит:

– Да я не знаю, гражданка. Одним словом, как другие – дозволят, так мое дело пятое.

– А чего такое? – спрашивают в очереди. – Об чем речь?

– Да вот, – говорит приказчик, – у них то есть семейный случай. Ихний супруг застрелившись... Так они просят отпустить им фунт сметаны и два десятка яиц без очереди.

– Конечное дело, отпустить. Обязательно отпустить. Чего там! – заговорили все сразу. – Пущай идет без очереди.

И все с любопытством стали рассматривать эту гражданку.

Она оправила креп на шляпке и вздохнула.

– Скажите, какое горе! – сказал приказчик, отвешивая сметану. – И с чего бы это, мадам, извиняюсь?

– Меланхолик он у меня был, – сказала гражданка.

– И давно-с? Позвольте вас так спросить.

– Да вот на прошлой неделе сорок дней было.

– Скажите, какие несчастные случаи происходят! – снова сказал приказчик. – И дозвольте узнать, с револьверу это они, это самое, значит, или с чего другого?

– Из револьверу, – сказала гражданка. – Главное, все на моих глазах произошло. Я сижу в соседней комнате. Хочу, не помню, что-то такое сделать, и вообще ничегошеньки не предполагаю, вдруг ужасный звук происходит. Выстрел, одним словом. Бегу туда – дым, в ушах звон... И все на моих глазах.

– М-да, – сказал кто-то в очереди, – бывает...

– Может быть, и бывает, – ответила гражданка с некоторой обидой в голосе, – но так, чтобы на глазах, это, знаете, действительно...

– Какие ужасные ужасы! – сказал приказчик.

– Вот вы говорите – бывает, – продолжала гражданка. – Действительно, бывает, я не отрицаю. Вот у моих знакомых племянник застрелился. Но там, знаете, ушел человек из дому, пропал вообще... А тут все на глазах...

Приказчик завернул сметану и яйца в пакет и подал гражданке с особой любезностью.

Дама печально кивнула головой и пошла к выходу.

– Ну, хорошо, – сказала какая-то фигура в очереди. – Ну, ихний супруг застрелившись. А почему такая спешка и яйца без очереди? Неправильно!

Дама презрительно оглянулась на фигуру и вышла.

Режим экономии

Как в других городах проходит режим экономии, я, товарищи, не знаю.

А вот в городе Борисове этот режим очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму в одном только нашем учреждении семь сажен еловых дров сэкономлено. Худо ли!

Десять лет такой экономии – это десять кубов все-таки. А за сто лет очень свободно три барки сэкономить можно. Через тысячу лет вообще дровами торговать можно будет.

И об чем только народ раньше думал? Отчего такой выгодный режим раньше в обиход не вводил? Вот обидно-то! А начался у нас этот самый режим еще с осени.

Заведующий у нас – свой парень. Про все с нами советуется и говорит как с родными. Папироски даже, сукин сын, стреляет.

Так приходит как-то этот заведующий и объявляет:

– Ну вот, ребяташки, началось... Подтянитесь! Экономьте что-нибудь там такое...

А как и чего экономить – неизвестно. Стали мы разговаривать, чего экономить. Бухгалтеру, что ли, черту седому, не заплатить, или еще как.

Заведующий говорит:

– Бухгалтеру, ребяташки, не заплатишь, так он, черт седой, живо в охрану труда смотается. Этого нельзя будет. Надо еще что-нибудь придумать.

Тут, спасибо, наша уборщица Нюша женский вопрос на рассмотрение вносит.

– Раз, – говорит, – такое международное положение и вообще труба, то, – говорит, – можно, для примера, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостинной!

– Верно, – говорим, – нехай уборная в холоде постоит. Сажен семь сэкономим, может быть. А что прохладно будет, так это отнюдь не худо. По морозцу-то публика задерживаться не будет. От этого даже производительность может актуально повыситься.

Так и сделали. Бросили топить – стали экономию подсчитывать.

Действительно, семь сажен сэкономили. Стали восьмую экономить, да тут весна ударила. Вот обидно-то!

Если б, думаем, не чертова весна, еще бы полкуба сэкономили.

Подкузьмила, одним словом, нас весна. Ну да и семь сажен, спасибо, на полу не валяются.

А что труба там какая-то от мороза оказалась лопнувши, так эта труба, выяснилось, еще при царском режиме была поставлена. Такие трубы вообще с корнем выдергивать надо.

Да оно до осени свободно без трубы обойдемся. А осенью какую-нибудь дешевенькую поставим. Не в гостинной!

1926

Бешенство

Натерпелись мы вчера страху. То есть форменный испуг на себе испытали.

Может, член правления Лапушкин до сих пор сидит у себя на квартире, трясется. А он зря не станет трястись. Я его знаю.

А главное, все эти дни были сами знаете какие жаркие. Не только, скажем, крупное животное, – клоп и тот может по такой жаре взбеситься, если, конечно, его на солнцепеке подержать.

А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бесятся.

Тут действительно сдрейфишь.

А мы, для примеру, у ворот стояли. Разговаривали.

Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим – по нашей стороне, задрав хвост, собака дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду нипочем не скажешь, что она бешеная. Хвостик у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим – собака форменно бешеная. Хвост у ней после удара обмяк, книзу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не растерялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим – все признаки налицо. Рот раскрыт. Слюна вышибает. Хвост колбасой. И вообще накидывается.

Член правления кричит:

– Спасайся, робя! Бешеная...

Бросились мы кто куда. А дворник Володин в свисток начал свистеть.

Тут кругом на улице рев поднялся. Крики. Суматоха.

Тут постовой бежит. Револьверы вынимает.

– Где тут, – кричит, – ребяташки, бешеная собака? Сейчас мы ее уконтрапуим!

Поднялась тут стрельба. Член правления из окон своей квартиры командует, куда стрелять и куда проходим бежать.

Вскоре, конечно, застрелили собачку.

Только ее застрелили, вдруг хозяин ее бежит. Он в подвале сидел, спасался от выстрелов.

– Да что вы, – говорит, – черти, нормальных собак кончаете? Совершенно, – говорит, – нормальную собаку уконтрапуили.

– Брось, – говорим, – братишка! Какая нормальная, если она кидается.

А он говорит:

– Трех нормальных собак у меня в короткое время прикончили. Это же, – говорит, – прямо немислимо! Нет ли, – говорит, – в таком случае свободной квартирки в вашем доме?

– Нету, – говорим, – дядя.

А он взял свою Жучку на плечи и пошел. Вот чудак-то!

Монтер

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней в театре – актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.

Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер – Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку – мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более что на карточку сняли его вдобавок мутно, не в фокусе.

А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер – маэстро Кайман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни.

Или он их раньше пригласил, или они сами подошли – неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу – посмотреть на спектакль. Монтер говорит:

– Да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов устрою. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему.

Управляющий говорит:

– Сегодня выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

– Ах так, – говорит. – Ну, так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет, замкнул на все ключи будку и сидит – флиртует со своими знакомыми девицами.

Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегаёт. Публика орёт. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

– Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, – говорит, – темно – я уйду. Мне, – говорит, – голос себе дороже. Пушай ваш монтер поет.

Монтер говорит:

– Пушай не поет. Наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пушай одной рукой поет, другой свет зажигает. Думает – тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.

Вдруг управляющий является, говорит:

– Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший их забодай!

Монтер говорит:

– Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, – говорит, – я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

– Начинайте, – говорит.

Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра – крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтера нет жизни на театральных подмостках.

Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться: дескать, я – тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымаь на карточку мутно, не в фокусе!

1927

Прелести культуры

Я всегда симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться – сиди, в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается – красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.

Товарищ Локтев и его дама Ньюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить – не помню.

Встречают и уговаривают:

– Горло, – говорят, – Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль – «Грелка».

И, одним словом, уговорили меня пойти в театр – провести культурно вечер.

Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

– Польша, – говорят, – сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, – думаю, – срамота может произойти». Главное – рубаха нельзя сказать что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, – думаю, – с такой крупной пуговицей в фойе идти».

Я говорю своим:

– Прямо, – говорю, – товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:

– Ну, покажись.

Расстегнулся я. Показываюсь.

– Да, – говорит, – действительно, видик...

Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:

– Я, – говорит, – лучше домой пойду. Я, – говорит, – не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, – говорит, – еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, – говорит, – вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.

Я говорю:

– Я не знал, что я в театры иду, дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу, – что тогда?

Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит:

– Вот чего. Я, – говорит, – Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.

Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.

– Ой, – говорит, – мать честная, я, – говорит, – сам сегодня не при жилетке. Я, – говорит, – тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.

Дама говорит:

– Лучше, – говорит, – я, ей-богу, домой пойду. Мне, – говорит, – дома как-то спокойней. А то, – говорит, – один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук вместо пиджака. Пушай, – говорит, – Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.

Просим и умоляем, показываем союзные книжки – не пушают.

– Это, – говорят, – не девятнадцатый год – в пальто сидеть.

– Ну, – говорю, – ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.

Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти – ноги не идут к выходу.

Локтев, собака, говорит:

– Вот чего. Ты, – говорит, – подтяжки отстегни, – пушай их дама понесет вместо сумочки. А сам валяй, как есть: будто у тебя это летняя рубашка апаш и тебе, одним словом, в ней все время жарко.

Дама говорит:

– Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, – говорит, – не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пушай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.

Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын.

А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит.

Дама отвечает:

– Скорей вы, подлец этакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду.

А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются – сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.

После приводим себя в порядок и садимся на места.

Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня.

– Дамам, – говорят, – противно на ночные рубашки глядеть. Это, – говорят, – их шокирует. Кроме того, – говорят, – он все время вертится, как сукин сын.

Я говорю:

– Я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, – говорю, – братцы, и сам не рад. Что же сделать?

Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть.

После отпускают.

– А теперь, – говорят, – придется вам трешку по суду отдать.

Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности...

Лимонад

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало – так, приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не позволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.

– У вас, – говорит, – полная девальвация. Где, – говорит, – печень, где мочевой пузырь, распознать, – говорит, – нет никакой возможности. Очень, – говорит, – вы сносились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай, – думаю, – сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

– Органы, – говорит, – у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, – говорит, – вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца – очень еще отличное, даже, – говорит, – шире, чем надо. Но, – говорит, – пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. «Надо, – думаю, – в самом деле пить бросить». Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать – охота выпить. «Заместо, – думаю, – острых напитков попрошу чего-нибудь помягче – нарзану или лимонаду». Зову.

– Эй, – говорю, – который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки – самая настоящая водка.

– Неси, – кричу, – еще!

«Вот, – думаю, – поперло-то!»

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось – самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал.

– Я, – говорю, – лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

– Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим – потребителя нету.

– Неси, – говорю, – еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится – жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

Суета сует

Жизнь, братцы мои, совершенно становится нормальной. Все определенно достигает довоенного качества.

Даже такая житейская мелочь, как похороны, и те заметно приобретают довоенный уровень.

Снова появились фигурные колесницы. Гробы опять-таки выпускаются с ручками. Факельщики ходят. Некоторые частники затягивают лошадей сетками, чтобы грубый вид животного не оскорблял родственника.

Провожающие родственники тоже заметно подтянулись: идут кучно, не вразброд. Многие, несмотря на мануфактурный кризис, по-прежнему украшают свои шляпки черным коленкором.

Не очень давно я даже видел, как впереди шествия кидали еловые ветки и сучки. Правда, ветки эти тут же моментально подбирали сзади идущие родственники и прохожие, и даже в некоторых местах происходила свалка, но от этого пышность обряда нисколько не уменьшалась.

Вообще говоря, все приходит в свою норму. Прямо помереть приятно.

А в каком-нибудь в двадцатом году да разве ж обращали внимание на какие-нибудь такие обряды?

Один раз, помню я, братцы мои, обнаружен был труп под воротами нашего дома. На Васильевском острове.

Особого переполоху не было, но экстренное собрание все-таки устроили.

Председатель комитета выступил тогда с небольшой речью.

– Международное положение, – говорит, – такое-то, а наряду с этим происходят такие мелкие факты и поступки. Некоторым гражданам неохота регистрировать и хоронить свои трупы, вот они и кидают под чужие ворота. В короткое время второй случай на нашей улице. Хороните коллективно. У меня своих делов по горло.

Время было тогда простое. Пища грубая. Пища эта не позволяла фантазировать и обдумывать обряды. Взяли жильцы и вечером коллективно отнесли труп к соседнему дому. И положили под ворота.

Дней пять или шесть мотали этот труп по разным домам. А после куда-то увезли.

Так вот я и говорю. Жили тогда просто. Никакой мишуры, никакой суеты сует не было.

Спасибо, братцы мои, что не подох я в двадцатом году.

Сейчас все-таки себя, через эти обряды, вроде как человеком чувствуешь.

1926

Хиромантия

Хотя событие это довольно мелкое, внутридомашнее, но дозвоьте о нем рассказать, хотя бы в порядке дискуссии.

Слов нет, смешно на седьмой год нэпа разговаривать о таинственных вещах и предсказаниях. Все это давно отошло в область предания. Знаем. И спорить об этом не собираемся.

Пушай только не пугается читатель. Здесь речь идет всего-навсего о хиромантии. Наука эта дозволена правительством. И рассказ, в силу этого, не может оскорбить ничьей, даже самой ураганной идеологии.

А дело такое. Хиромантка с нашего дома очень уж удивительно верно предсказала судьбу казначею и члену правления товарищу Ящикову.

А пошел к ней тов. Ящиков перед самым праздником. Пошел просто шутя, для потехи. Живет с ней все-таки на одной площадке. Отчего, думает, не пойти. Все-таки с казначея ей взять неловко. А возьмет, так после наплачется.

Вот он и пошел.

– Человек, – говорит, – я довольно культурный, полуинтеллигентный, мне, – говорит, – прямо срамота до хироманток ходить. Но, – говорит, – подкупает меня, что даром. Пушай чего-нибудь мне скажет. Я от этого не похудею.

И приходит он до хиромантки.

Взяла она его руку. Смыла, конечно, с ладони всякую производственную чепуху. А то, дескать, никаких линий не видать. И говорит:

– Рука, – говорит, – у вас ничего особенно ужасного не выражает. Линий, – говорит, – на ей много. И я, – говорит, – сама, даром что хиромантка, в этих линиях путаюсь и затрудняюсь. Дозвольте, – говорит, – заместо того разложить карты, уважаемый товарищ.

И раскладывает она карты и отвечает:

– Действительно, – отвечает, – наступают рождественские праздники. И придут до вас несколько королей и девятка бубей. И будет-произойдет у вас с ними драка. И начнете вы друг дружку сыпать-ударять по морде. И может быть, даже пострадает одна дама. А так остальное все ничего, слава богу. И никакой такой особенной психологии у вас не предвидится.

Посмеялся на эти слова товарищ Ящиков, ничего ей, дуре такой, не заплатил и ушел к себе.

И вот ударяют праздники. Происходит сочельник. И наступает первый день. Приходят до товарища Ящикова несколько королей и девятка бубей, кушают, выпивают и легонько бузят. И в девять часов завязывается у них драка.

И в первый день как по писаному.

И перекидывается эта драка на лестницу, на площадку.

Тут непостижимым образом впутывается в драку хиромантка. Может быть, она услышала шум на лестнице и вышла поглядеть. Только товарищ Ящиков погнался за ней и хотел за верное предсказанье кинуть ее в помойку.

Одним словом, все произошло как по писаному. Даже пострадала дама.

Конечно, если поглядеть в глубь вещей, то особенно удивительного в этом предсказании ничего не было. Драка случалась ужасно часто у товарища Ящикова. Не только по праздникам, а и в будние дни той же хиромантке приходилось за милицией бегать.

Так что лавры нашей хиромантки чуть слегка блекнут от этих соображений.

Хотя как сказать. Если б не предсказание – может, ничего бы и не было.

Товарищ Ящиков сам говорил:

– И гости были смиренные – мухи не обидят. И жрали мало. И нипочем бы, – говорит, – не стал я таких гостей трогать. Но, – говорит, – вспомнил предсказание и ударил.

Все-таки есть еще на свете что-то таинственное. Ну откуда у человека берется такое дарование – видеть в глубь природы и указывать события?

1927

Много ли человеку нужно

Недавно ездили мы через весь Союз. Специально глядели, как живут люди.

Ничего себе живут. Стараются.

В любом городе заметно вырастают новые дома и домишки. Все больше такие небольшие коттеджи, вроде халуп.

И жилищный кризис в связи с этим начал как будто бы слегка ослабевать. Более как семнадцать человек в одной комнате нам не приходилось видеть.

И только в одном городе комнату занимало двадцать три персоны. Легковые извозчики. С семьями. Но это было в Ростове-на-Дону. Город этот все-таки южный, климатический. Даже, говорят, персики там могут расти. Море тоже не очень далеко плескается. Море это, может быть, круглый год не замерзает. При таких неслыханных климатических условиях просто нет такой острой необходимости в крытых помещениях.

А на север если перекинуться – там легче.

В том же Ленинграде квартир непочатый край.

Мой хороший знакомый, некий Иван Андреевич, не очень давно нашел себе квартиру. В том же городе Ленинграде. И недолго искал. Смотался раз или два в квартирное бюро. Там говорят:

– Можно. Сколько вам комнат? Пять, шесть?

– Три, – говорит, – будьте любезны.

– Можно.

И дали адрес.

А панические людишки, проевшие свою храбрость и мужество в гражданскую войну, говорят: кризис!

Сходил некий Иван Андреевич по адресу – да, действительно: три комнаты и все на свете.

И ремонт не особо большой оказался. Входные двери поставить и стенки вывести. Да еще лестницу до своего этажа достроить.

А что трубу перекладывать, то это по желанию. Труба – царской кладки. Тяга, конечно, есть, но только до прихожей, а у Ивана Андреевича грудь слабая. Он дым худо переносит. Все время задыхается.

Другой, более здоровый парень и с такой бы трубой прожил. В крайнем случае сунул бы голову в окно – так бы и жил.

Но тут пришлось и трубу перекладывать.

А денег Иван Андреевич не так много ухлопал. Конечно, денег порядочно ухлопал. Весь, можно сказать, продался, как последний сукин сын. И даже под вексель взял. Но духом не упал.

– В крайнем, – говорит, – случае, я могу эту квартиру продать.

И с этими мыслями он даже и не волновался, а преспокойно заканчивал ремонт.

«Потому, – думает, – в петлю еще не попал. Такую свеженькую квартирку у меня каждый дурак купит».

И действительно, когда надо было платить по векселю, Иван Андреевич без особых хлопот и расходов взял и продал эту квартиру.

И на всем этом деле потерял не больше как сорок рублей. Но за такую квартиру и сотню потерять не стыдно.

А на полученные деньги Иван Андреевич вновь купил проданное имущество и с долгами расплатился.

А теперь он, кажется, опять нашел подходящую квартиру и снова приступил к ремонту.

А говорят – острый кризис. Не особенно. Жить можно.

1927

Драка

Вчера, братцы мои, иду я к вокзалу. Хочу на поезд сесть и в город поехать. Пока что я на даче еще обретаюсь. Под Ленинградом.

Так подхожу я к вокзалу и вижу – на вокзале, на самой платформе, наискось от дежурного по станции, драка происходит. Дерутся, одним словом.

А надо сказать, наше дачное местечко ужасно какое тихое. Прямо все дни – ни пьянства, ни особого грохота, ни скандала. То есть ничего такого похожего. Ну, прямо тишина. В другой раз в ушах звенит от полной тишины.

Человеку умственного труда, или работнику прилавка, или, скажем, служителю культа, ну прямо можно вот как отдохнуть в наших благословенных краях.

Конечно, эта тишина стоит не полный месяц. Некоторые дни недели, само собой, исключаются. Ну, скажем, исключаются, ясное дело – суббота, воскресенье, ну, понедельник. Ну, вторник еще. Ну, конечно, празднички. Опять же дни получек. В эти дни действительно скрывать нечего – форменная буза достигает своего напряжения. В эти дни действительно, скажем, нехорошо выйти на улицу. В ушах звенит от криков и разных возможностей.

Так вот, значит, в один из этих натуральных дней прихожу я на вокзал. Хочу на поезд сесть и в город поехать. Я на даче пока что. Под Ленинградом.

Так подхожу к вокзалу и вижу – драка.

Два гражданина нападают друг на друга. Один замахивается бутылкой. А другой обороняется балалайкой. И тоже, несмотря на оборону, норовит ударить своего противника острым углом музыкального инструмента.

Тут же еще третий гражданин. Ихний приятель. Наиболее трезвый. Разнимает их. Прямо между ними встревает и запрещает драться. И, конечно, принимает на себя все удары. И, значит, балалайкой и бутылкой.

И когда этот третий гражданин закачался и вообще, видимо, ослаб от частых ударов по разным наружным органам своего тела, тогда я решил позвать милиционера, чтобы прекратить истребление этого благородного организма.

И вдруг вижу: тут же у вокзала, на переезде, стоит милиционер и клюет семечки.

Я закричал ему и замахал рукой.

Один из публики говорит:

– Этот не пойдет. Он здешний житель. Напрасно зовете.

– Это, – говорю, – почему не пойдет?

– Да так – он свяжется, а после на него же жители косо будут глядеть: дескать, разыгрывает начальство. А то еще наклепают, когда протрезвятся. Были случаи. Это не в Ленинграде. Тут каждый житель на учете.

Милиционер стоял на своем посту и скучными глазами глядел в нашу сторону. И жевал семечки. Потом вздохнул и отвернулся.

Драка понемногу ослабевала.

И вскоре трое дерущихся, в обнимку, пошли с вокзала.

Операция

Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя как сказать – маленькая! Человека чуть не зарезали. На операции.

Оно, конечно, до этого далеко было. Прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петя, чтобы мог допустить себя свободно резать. Прямо скажем: не такой это человек. Но история все-таки произошла с ним грустная.

Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек. Не сообразил. Опять же на операцию в первый раз явился. Без привычки.

А началась у Петюшки пшеничная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года раздуло прямо в чернильницу.

Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попала молодая, интересная особа.

Докторша эта ему говорила:

– Как хотите. Хотите – можно резать. Хотите – находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть перед собой эту опухоль.

Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию.

Тогда велела ему докторша прийти завтра.

Назавтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает:

«Дело это хотя глазное и наружное и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает – как бы не приказали костюм раздеть. Медицина – дело темное. Не заскочить ли, в самом деле, домой – переснять нижнюю рубаху?»

Побежал Петюшка домой.

Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза ей пустить – дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато будьте любезны, рубашечка – чистый мадаполам.

Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть.

Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном сполоснул. Усики кверху растопырил. И покатился.

Докторша говорит:

– Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшеничная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.

Петюшка слегка даже растерялся.

«То есть, – думает, – прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ёй, – думает, – носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже».

Начал Петюшка Ящиков все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.

Докторша говорит:

– Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.

Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:

– Прямо, – говорит, – товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя – не предполагал. Прямо, – говорит, – товарищ докторша, рубашку переменял, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, – говорит, – на них не обращайтесь внимания во время операции.

Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:

– Ну, валяй скорей. Время дорого.

А сама сквозь зубы хохочет.

Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит.

А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой!

Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?

Но, между прочим, операция закончилась прекрасно. И глаз у Петюшки теперь не имеет опухоли.

Да и носочки, наверно, он носит теперь более аккуратные. С чем и поздравляем его, ежели это так.

1927

Веселенькая история

Лиговский поезд никогда шибко не едет. Или там путь не позволяет, или семафоров очень много наставлено – сверх нормы, – я этого не знаю. Но только ход поезда удивительно медленный. Прямо даже оскорбительно ехать. И, конечно, через такой ход в вагоне бывает ужасно как скучно. Прямо скажем – делать нечего.

На публику глядеть, конечно, мало интереса. Обидятся еще. «Чего, – скажут, – смотришь? Не узнал?»

А своим делом заняться тоже не всегда можно. Читать, например, нельзя. Лампочки особо мутные. И ужасно высоко приспособлены. Прямо как угольки сверху светят, а радости никакой.

Хотя насчет лампочки это зря сказано. Эта веселенькая история произошла днем. Но оно и днем скучно ехать.

Так вот, в субботу днем в вагоне для некурящих пассажиров ехала Феклуша. Фекла Тимофеевна Разуваева. Она из Лигова до Ленинграда ехала за товаром. Она яблоками и семечками торгует в Лигове на вокзале.

Так вот, эта самая Феклуша поехала себе на Щукин. На Щукин рынок. Ей охота была приобрести ящик браку антоновки.

И присела она с Лигова у окошка и поехала. Едет и едет.

Напротив ее едет Федоров Никита. Рядом, конечно, Анна Ивановна Блюдечкина – совслужащая из соцстраха. Все лиговские. На работу едут.

А вскоре после Лигова еще новый пассажир входит. Военный. Или вроде того, одним словом, в высоких сапогах.

Он до этого времени на площадке ехал. И садится он наискось от Феклы Тимофеевны Разуваевой. Садится он наискось и едет.

Фекла Тимофеевна, пуцай ей будет полное здоровье и благополучие, развязала косынку и, развязавши, стала свободно размышлять на торговые темы, мол, сколько в ящике может быть антоновки и так далее.

После поглядела она в окно. А после, от полной скуки, стала Фекла Тимофеевна подремывать. То ли в теплом вагоне ее, милую, развезло или скучные картины природы на нее подействовали, но только начала Фекла Тимофеевна клевать носом. И зевнула.

Первый раз зевнула – ничего. Второй раз зевнула во всю ширь – аж все зубы можно пересчитать. Третий раз зевнула еще послаще. А военный, который наискось сидел, взял и добродушно сунул ей палец в рот. Пошутил. Ну, это часто бывает – кто-нибудь зевнет, а ему палец в рот. Но, конечно, это бывает между, скажем, настоящими друзьями, заранее знакомыми или родственниками со стороны жены. А этот совершенно незнакомый. Фекла Тимофеевна в первый раз его видит.

По этой причине Фекла Тимофеевна, конечно, испугалась. И, с перепугу, поскорей захлопнула свой чемодан. И при этом довольно сильно тяпнула военного за палец зубами.

Ужасно тут закричал военный. Начал кричать и выражаться. Мол, палец ему почти начисто оттяпали. Тем более что палец совершенно не оттяпали, а просто немного захватили зубами. И крови-то почти не было – не больше полстакана.

Началась легкая перебранка. Военный говорит:

– Я, – говорит, – ну, просто пошутил. Если бы, – говорит, – я вам язык оторвал или что другое, тогда кусайте меня, а так, – говорит, – я не согласен. Я, – говорит, – военнослужащий и не могу дозволить пассажирам отгрызать свои пальцы. Меня за это не похвалят.

Фекла Тимофеевна говорит:

– Ой! Если бы ты мне за язык взялся, я бы тебе полную кисть руки оттяпала. Я не люблю, когда меня за язык хватают.

Начала тут Фекла Тимофеевна на пол сплевывать, дескать, может, и палец-то черт знает какой грязный, и черт знает за что брался, – нельзя же такие вещи строить – негигиенично.

Но тут ихняя дискуссия была нарушена – подъехали к Ленинграду. Фекла Тимофеевна еще слегка полаялась со своим военным и пошла на Шукин.

1928

Больные

Человек – животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался.

Очень уж у человека поступки – совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал.

А это было в лечебнице. На амбулаторном приеме. Я раз в неделю по внутренним болезням лечусь. У доктора Опушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него пятый год лечусь. И ничего, болезнь не хуже.

Так вот, прихожу в лечебницу. Записывают меня седьмым номером. Делать нечего – надо ждать.

Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду.

И слышу – ожидающие больные про себя беседуют. Беседа довольно тихая, вполголоса, без драки.

Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорит своему соседу:

– Это, – говорит, – милый ты мой, разве у тебя болезнь – грыжа. Это плюнуть и растереть – вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я тем не менее очень больной. Я почками хвораю.

Сосед несколько обиженным тоном говорит:

– У меня не только грыжа. У меня легкие ослабшие. И вот еще жировик около уха.

Мордастый говорит:

– Это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками!

Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит:

– Ну, что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками – и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь.

Мордастый говорит:

– Я не могу помереть! Вы слышали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка! А еще суетесь в медицинские разговоры.

Гражданка говорит:

– Я вашу болезнь не унижаю, товарищ! Это болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня – рак.

Мордастый говорит:

– Ну что ж – рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак – совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти.

От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала:

– Рак в полгода. Видали! Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за свою болезнь.

Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся.

В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит:

– А собственно, граждане, чего вы тут расхвастались?

Больные посмотрели на говорившего и молча стали ожидать приема.

Иностранцы

Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы.

Некоторые иностранцы для полной выдержки монокль в глазах носят. Дескать, это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы ни случилось.

Это, надо отдать справедливость, здорово.

А только иностранцам иначе и нельзя. У них там буржуазная жизнь довольно беспокойная. Им там буржуазная мораль не позволяет проживать естественным образом. Без такой выдержки они могут ужасно осрамиться.

Как, например, один иностранец костью подавился. Курятину, знаете, кушал и заглотал лишнее. А дело происходило на званом обеде. Мне про этот случай один знакомый человек из торгпредства рассказывал.

Так дело, я говорю, происходило на званом банкете. Кругом, может, миллионеры пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные другие.

А тут, знаете, наряду с этим человек кость заглотал.

Конечно, с нашей свободной точки зрения в этом факте ничего такого оскорбительного нету. Ну, проглотил и проглотил. У нас на этот счет довольно быстро. «Скорая помощь». Марининская больница. Смоленское кладбище.

А там этого нельзя. Там уж очень исключительно избранное общество. Кругом миллионеры расположились. Форд на стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. Одного электричества горит, может, больше, как на двести свечей.

А тут человек кость проглотил. Сейчас сморкаться начнет. Харкать. За горло хвататься. Ах, боже мой! Моветон и черт его знает что.

А выйти из-за стола и побежать в ударном порядке в уборную – там тоже нехорошо, неприлично. «Ага, – скажут, – побежал до ветру». А там этого абсолютно нельзя.

Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, смертельно испугался. Начал было в горле копать. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать.

Хозяин до него обращается по-французски.

– Извиняюсь, – говорит, – может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное? Вы, – говорит, – в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

– Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, – говорит, – не знаю, как у вас в горле, а у меня в горле все в порядке.

И начал опять воздушные улыбки посылать. После на бланманже налег. Скушал порцию. Одним словом, досидел до конца обеда и никому виду не показал.

Только когда встали из-за стола, он слегка покачнулся и за брюхо рукой взялся – наверное, кольнуло. А потом опять ничего.

Посидел в гостиной минуты три для мелкобуржуазного приличия и пошел в переднюю.

Да и в передней не особо торопился, с хозяйкой побеседовал, за ручку подержался, за калошами под стол нырнул вместе со своей костью. И отбыл.

Ну, на лестнице, конечно, поднажал.

Бросился в свой экипаж.

– Вези, – кричит, – куриная морда, в приемный покой.

Подох ли этот француз или он выжил – я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, выжил. Нация довольно живучая.

1928

Землетрясение

Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.

Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку.

И он работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были. И производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, времени хватало. Чего-чего другого...

Так и тут. Перед самым, значит, землетрясением, а именно, кажется, в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более он кончил работу. И тем более было у него две бутылки запасено. Так что чего же особенно ждать? Он взял и выкушал. Тем более он еще не знал, что будет землетрясение.

И вот выпил человек полторы бутылки горькой, немножко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения.

А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мутило. И он всегда чистое небо себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября, в аккурат перед самым землетрясением, Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе.

Вот он спит, видит разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение. Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет.

А что до его приятеля, так его приятель с первого удара дал тигалья и расположился в городском саду, боясь, чтоб его камнем не убило.

Только рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи наш Снопков. Проснулся наш Снопков под кипарисом и, значит, свой родной двор нипочем не узнает. Тем более ихнюю каменную будку свалило. Не целиком свалило, а стена расплзлась, и забор набок рухнул. Только что кипарис тот же, а все остальное признать довольно затруднительно.

Продрал свои очи наш Снопков и думает:

«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, – думает, – я в пьяном виде вчерась еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, кругом какое разрозненное хозяйство! Только не понять – чье. Нет, – думает, – нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, – думает, – чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается».

И так ему на душе неловко стало, неинтересно.

«Эва, – думает, – забрел куда. Еще спасибо, – думает, – во дворе прилег, а нуте на улице: мотор может меня раздавить или собака может чего-нибудь такое отгрызть. Надо, – думает, – полегче пить или вовсе бросить».

Стало ему нехорошо от этих мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остальные полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал.

Выкушал Снопков жидкость и обратно захмелел. Тем более он не жрал давно и тем более голова была ослабши с похмелюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые, с перинами и матрацами.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

«Господи, – думает, – семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или, – думает, – я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках».

Идет, пьяный, и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается – темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно – он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге, совершенно обобранный, и думает:

«Господи, – думает, – семь-восемь, где же это я обратно лежу?»

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге.

Только прошел он сгоряча верст, может, десять и присел на камушек.

Он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может.

И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему говорит:

– А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?

Снопков говорит:

– Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

– Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения, и чего где разрушило, и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и заспешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился.

После подсчитал Снопков свои убытки: уперли порядочно. Наличные деньги – шестьдесят целковых, пиджак – рублей восемь, штаны – рубля полтора и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь И. Я. Снопков собрался ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже.

Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?

Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи – землетрясение, и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!»

И очень даже просто, товарищи.

Врачевание и психика

1

Вчера я пошел лечиться в амбулаторию.

Народу чертовски много. Почти как в трамвае.

И, главное, интересно отметить, – самая большая очередь к нервному врачу, по нервным заболеваниям. Например, к хирургу всего один человек со своей развороченной мордой, с разными порезами и ушибами. К гинекологу – две женщины и один мужчина. А по нервным – человек тридцать.

Я говорю своим соседям:

– Я удивляюсь, сколько нервных заболеваний. Какая несоразмерная пропорция.

Такой толстоватый гражданин, наверное, бывший рыночный торговец или черт его знает кто, говорит:

– Ну еще бы! Ясно. Человечество торговать хочет, а тут извольте – глядите на ихнюю торговлю. Вот и хворают. Ясно...

Другой, такой желтоватый, худощавый, в тужурке, говорит:

– Ну, вы не очень-то распушайте свои мысли. А не то я позвоню куда следует. Вам покажут – человечество... Какая сволочь лечиться ходит...

Такой, с седоватыми усишками, глубокий старик, лет пятидесяти, так примиряет обе стороны:

– Что вы на них нападаете? Это просто, ну, ихнее заблуждение. Они про это говорят, забывши природу. Нервные заболевания возникают от более глубоких причин. Человечество идет не по той линии... цивилизация, город, трамвай, бани – вот в чем причина возникновения нервных заболеваний... Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятое-десятое, и никаких нервов не понимали. Даже врачей у них, кажется, не было.

Бывший торговец говорит с усмешкой:

– А вы чего – бывали среди них или там знакомство поддерживали? Седоватый, а врать любит...

Старик говорит:

– Вы произносите глупые речи. Я выступаю против цивилизации, а вы несете бабью чушь. Пес вас знает, чем у вас мозги набиты.

Желтоватый, в тужурке, говорит:

– Ах, вам цивилизация не нравится, строительство... Очень я слышу милые слова в советском учреждении. Вы, – говорит, – мне под науку не подводите буржуазный базис. А не то знаете чего за это бывает?

Старик робеет, отворачивается и уж до конца приема не раскрывает своих гнилых уст.

Советская мадам в летней шляпке говорит, вздохнувши:

– Главное, заметьте, все больше пролетарии лечатся. Очень расшатанный класс...

Желтоватый, в тужурке, отвечает:

– Знаете, я, ей-богу, сейчас по телефону позвоню. Тут я прямо не знаю, какая больная прослойка собравшись. Какой неглубокий уровень! Класс очень здоровый, а что отдельные единицы нервно хворают, так это еще не дает картины заболевания.

Я говорю:

– Я так понимаю, что отдельные единицы нервно хворают в силу бывшей жизни – война, революция, питание... Так сказать, психика не выдерживает такой загрубелой жизни.

Желтоватый начал говорить:

– Ну, знаете, у меня кончилось терпение...
Но в эту минуту врач вызывает: «Следующий».
Желтоватый, в тужурке, не заканчивает фразы и спешно идет за ширмы.

2

Вскоре он там начинает хихикать и говорить «ой». Это врач его слушает в трубку, а ему щекотно.

Мы слышим, как больной говорит за ширмой:

– Так-то я здоров, но страдаю бессонницей. Я сплю худо, дайте мне каких-нибудь капель или пилюль.

Врач отвечает:

– Пилюль я вам не дам – это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения. Я нахожу причину и с ней борюсь. Вот я вижу – у вас нервная система расшатавши. Я вам задаю вопрос – не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните.

Больной сначала не понимает, о чем идет речь. Потом несет какую-то чушь и наконец решительно добавляет, что никакого потрясения с ним не было.

– А вы вспомните, – говорит врач, – это очень важно – вспомнить причину. Мы ее найдем, развенчаем, и вы снова, может быть, оздоровитесь.

Больной говорит:

– Нет, потрясений у меня не было.

Врач говорит:

– Ну, может быть, вы в чем-нибудь взволновались... Какое-нибудь очень сильное волнение, потрясение?

Больной говорит:

– Одно волнение было, только давно. Может быть, лет десять назад.

– Ну, ну, рассказывайте, – говорит врач, – это вас облегчит. Это значит, вы десять лет мучились, и по теории относительности вы обязаны это мученье рассказать, и тогда вам снова будет легко и будет хотеться спать.

Больной мямлит, вспоминает и наконец начинает рассказывать.

3

– Возвращаюсь я тогда с фронта. Ну, естественно, – гражданская война. А я дома полгода не был. Ну, вхожу в квартиру... Да. Поднимаюсь по лестнице и чувствую – у меня сердце в груди замирает. У меня тогда сердце маленько пошаливало – я был два раза отравлен газами в царскую войну, и с тех пор оно у меня пошаливало.

Вот поднимаюсь по лестнице. Одет, конечно, весьма небрежно. Шинелька. Штанцы. Вши, извиняюсь, ползают.

И в таком виде иду к супруге, которую не видел полгода.

Безобразие.

Дохожу до площадки.

Думаю – некрасиво в таком виде показаться. Морда неинтересная. Передних зубов нету. Передние зубы мне зеленая банда выбила. Я тогда перед этим в плен попал. Ну, сначала хотели меня на костре спалить, а после дали по зубам и велели уходить.

Так вот, поднимаюсь по лестнице в таком неважном виде и чувствую – ноги не идут. Корпус с мыслями стремится, а ноги идти не могут. Ну, естественно, – только что тиф перенес, еще хвораю.

Еле-еле вхожу в квартиру. И вижу: стол стоит. На столе выпивка и селедка. И сидит за столом мой племянник Мишка и своей граблей держит мою супругу за шею.

Нет, это меня не взволновало. Нет, я думаю: это молодая женщина – чего бы ее не держать за шею. Это чувство меня не потрясает.

Вот они меня увидели. Мишка берет бутылку водки и быстро ставит ее под стол. А супруга говорит:

– Ах, здравствуйте.

Меня это тоже не волнует, и я тоже хочу сказать «здравствуйте». Но отвечаю им «те-те»... Я в то время маленько заикался и не все слова произносил после контузии. Я был контужен тяжелым снарядом и, естественно, не все слова мог произносить.

Я гляжу на Мишку и вижу – на нем мой френч сидит. Нет, я никогда не имел в себе мещанства! Нет, я не жалею сукно или материю. Но меня коробит такое отношение. У меня вспыхивает горе, и меня разрывает потрясение.

Мишка говорит:

– Ваш френч я надел все равно как для маскарада. Для смеху.

Я говорю:

– Сволочь, сымай френч!

Мишка говорит:

– Как я при даме сыму френч?

Я говорю:

– Хотя бы шесть дам тут сидело, сымай, сволочь, френч.

Мишка берет бутылку и вдруг ударяет меня по башке.

4

Врач перебивает рассказ. Он говорит:

– Так, так, теперь нам все понятно. Причина нам ясна... И, значит, с тех пор вы страдаете бессонницей? Плохо спите?

– Нет, – говорит больной, – с тех пор я ничего себе сплю. Как раз с тех пор я спал очень хорошо.

Врач говорит:

– Ага! Но когда вспоминаете это оскорбление, тогда и не спите? Я же вижу – вас взволновало это воспоминание.

Больной отвечает:

– Ну да, это сейчас. А так-то я про это и думать позабыл. Как с супругой развелся, так и не вспоминал про это ни разу.

– Ах, вы развелись...

– Развелся. Вышел за другую. И затем за третью. После за четвертую. И всегда спал отлично. А как сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми, так я и спать перестал. В другой раз с дежурства придешь, ляжешь спать – не спишься. Ребятишки бегают, веселятся, берут за нос. Чувствую – не могу заснуть.

– Позвольте, – говорит врач, – так вам мешают спать?

– И мешают, конечно, и не спишься. Комната небольшая, проходная. Работает много. Устаешь. Питание все-таки среднее. А ляжешь – не спишься...

– Ну а если тихо? Если, предположим, в комнате тихо?

– Тоже не спишься. Сестра на праздниках уехала в Гатчину с детьми. Только я начал засыпать, соседка несет тушилку с углями. Оступается и сыплет на меня угли. Я хочу спать и чувствую: не могу заснуть – одеяло тлеет. А рядом на мандолине играют. А у меня ноги горят...

– Слушайте, – говорит врач, – так какого же черта вы ко мне пришли?! Одевайтесь. Ну, хорошо, ладно, я вам дам пилюли.

За ширмой вздыхают, зевают, и вскоре больной выходит оттуда со своим желтым лицом.

– Следующий, – говорит врач.

Толстоватый субъект, который беспокоился за торговлю, спешит за ширмы.

Он на ходу машет рукой и говорит:

– Нет, неинтересный врач. Верхогляд. Чувствую – он мне тоже не поможет.

Я гляжу на его глуповатое лицо и понимаю, что он прав – медицина ему не поможет.

1933

Западня

Один мой знакомый парнишка – он, между прочим, поэт – побывал в этом году за границей.

Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба.

Очень много чего любопытного видел.

Ну, конечно, говорит, – громадный кризис, безработица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что.

Между прочим, он ужинал с одной герцогиней.

Он сидел со своим знакомым в ресторане. Знакомый ему говорит:

– Хочешь, сейчас я для смеха позову одну герцогиню. Настоящую герцогиню, у которой пять домов, небоскреб, виноградники и так далее.

Ну, конечно, наворачивает.

И, значит, звонит по телефону. И вскоре приходит такая красоточка лет двадцати. Чудно одетая. Манеры. Небрежное выражение. Три носовых платочка. Туфельки на босу ногу.

Заказывает она себе шнельклопс и в разговоре говорит:

– Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала.

Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отвечает, дескать, помилуйте, у вас а-ля мезон столько домов, врите, дескать, наворачиваете, приbedняетесь, тень наводите.

Она говорит:

– Знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов мне квартплату не вносят. У населения денег нет.

Этот небольшой фактик я рассказал так вообще. Для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто.

Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культуру. Особенно, говорит, в Германии, несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность.

Улицы они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас.

Кошек своих хозяйки на шнурочках выводят прогуливать. Черт знает что такое.

Все, конечно, ослепительно чисто. Плюнуть некуда.

Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, неоскорбительно для человеческого достоинства туда заходить.

Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул – верно ли есть отличие, – как у них и у нас.

Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота, голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе.

«Что, – думает, – за черт. Наша страна, ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, – думает, – вернусь в Москву – буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, – думает, – пробью эту косность. Вот вернусь и поэму напишу – мол, грязи много, товарищи, – не годится... Тем более у нас сейчас кампания за чистоту – исполню социальный заказ».

Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Думает, любитесь фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Чего-то там такое:

Даже сюда у них зайти очень мило —
Фиалки на полках цветут.
Да разве ж у нас прошел Аттила,
Что такая грязь там и тут.

А после, напевая последний немецкий фокстротик «Ауфвидерзейн, мадам», хочет уйти на улицу.

Он хочет открыть дверь, но видит – дверь не открывается. Он подергал ручку – нет. Приналег плечом – нет, не открывается.

В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню.
После хлопнул себя по лбу.

«Я, дурак, – думает, – позабыл, где нахожусь – в капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг небось пфенниг плати. Небось, – думает, – надо им опустить монетку – тогда дверь сама откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, – думает, – у меня в кармане мелочь есть. Хорош был бы я гусь без этой мелочи».

Вынимает он из кармана монеты. «Откуплюсь, – думает, – от капиталистических щук. Суну им в горло монету или две».

Но видит – не тут-то было. Видит – никаких ящичков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пихать и сколько пихать – неизвестно.

Тут наш знакомый прямо даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь.

Слышит – собирается народ. Подходят немцы. Лопочут на своем диалекте.

Поэт говорит:

– Отпустите на волю, сделайте милость.

Немцы чего-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации.

Поэт говорит:

– Геноссе, геноссе, дер тюр, сволочь, никак не открывается. Компренешен. Будьте любезны, отпустите на волю. Два часа сижу.

Немцы говорят:

– Шпрехен зи дейч?

Тут поэт прямо взмолился:

– Дер тюр, – говорит, – дер тюр отворите. А ну вас к лешему!

Вдруг за дверью русский голос раздается:

– Вы, – говорит, – чего там? Дверь, что ли, не можете открыть?

– Ну да, – говорит. – Второй час бьюсь.

Русский голос говорит:

– У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, – говорит, – наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей.

Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот.

Русский говорит:

– Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством...

Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу.

У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил восвояси.

Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился.

«Ага, – думает, – стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтоб поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили».

На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Ауфвидерзейн, мадам», пошел в гости, как ни в чем не бывало.

1933

Грустные глаза

Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. Крики.

Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз.

Я не люблю эту самую поэзию, где грусть, и печаль, и разные вздохи, и разные тому подобные меланхолические восклицания вроде: «эх», «ну», «чу», «боже мой», «ох», «фу-ты» и так далее.

Мне даже, знаете, смешно делается, когда хвалят чего-нибудь грустное или, например, говорят при виде какой-нибудь особы:

– Ах, у нее, знаете, такие прекрасные грустные глаза. И такое печальное поэтическое личико.

Я при этом думаю: «За что ж тут хвалить? Напротив, надо сочувствовать и надо вести названную особу на медицинский пункт, чтоб выяснить, какие болезни подтачивают ее нежный организм и почему у нее сделались печальные глаза».

Нет, у людей бывает очень странный взгляд на вещи. Восхищаться грустными вещами. Восторгаться печальными фактами. Прямо даже не понять, как это бывает.

Вот прежние интеллигенты и вообще, знаете, старая Россия как раз особенно имела такой восторг ко всему печальному. И находила чего-то в этом возвышенное.

Как у Пушкина сказано. Не помню только, как там строчки расположены. Нынешняя поэзия меня в этом смысле окончательно сбила с панталыку. Одним словом, сказано:

От ямщика
До
Первого поэта
Мы
Все
Поем
Уныло...
...Печалию согрета
Гармония
И
Наших
Дев
И муз.

Очень жаль. И гордиться, так сказать, этим не приходится. Нынче мы желаем развенчать эту грусть. Мы желаем, так сказать, скинуть ее с возвышенного пьедестала.

А как-то, знаете, однажды зашел ко мне в гости мой приятель. Ну, мы с ним на «ты». Вообще со школьной скамьи. Делимся новостями. И друг у друга в долг занимаем.

Вот он приходит ко мне и говорит, что он влюбился в одну особу до потери сознания и вскоре на ней женится.

И тут же начинает расхваливать предмет своей любви.

– Такая, – говорит, – она у меня красавица, такие у нее грустные глазки, что я и в жизни никогда таких не видывал. И эти, – говорит, – глазки такой, как бы сказать, колорит дают, что из хорошенькой она делается премированная красавица. Личико у нее нельзя сказать, что интересное, и носик немножко подгулял, и бровки какие-то странные – очень косматые, но

зато ее грустные глаза с избытком прикрывают все недостатки и делают ее из дурнушки ничего себе. Я, знаешь, – говорит, – ее и полюбил-то за эти самые глаза.

– Ну и дурак, – говорю я ему. – Вот и выходит, что ты форменный дурак. Прошляпился со своей женьбой. Раз у нее грустные глаза, значит, у нее в организме чего-нибудь не в порядке – либо она истеричка, либо почками страдает, либо вообще чахоточная. Ты, – говорю, – возьми да порасспроси ее хорошенько. Или поведи к врачу, посоветуйся.

Ох, тут он очень возмутился, начал швыряться вещами, кричать и срамить меня за излишнюю склонность к грубому материализму.

– Я, – говорит, – жалею, что к тебе зашел. У меня такое было поэтическое настроение, а ты своими ручищами загрязнил мое чувство.

Стал он прощаться и уходить.

Я пытался ему рассказать, как я однажды встретил в Кисловодске одного носильщика с такими грустными глазами, что можно обалдеть. И при расспросе оказалось, что у него было ущемление грыжи. И теперь он должен бросить свою профессию.

Однако приятель не стал до конца слушать и, обидевшись еще сильнее за нетактичные параллели и сравнения, холодно подал мне руку и при этом бормотал разные оскорбительные слова – дескать, ты черта лысого понимаешь в поэзии. Сам прошляпил красоту в жизни.

Вот проходит что-то около полгода. Я позабываю эту историю. Но вдруг однажды встречаю своего приятеля на улице.

Он идет с расстроенным лицом и хочет не заметить меня.

Я подхожу к нему и спрашиваю, что случилось.

– Да так, – говорит, – разные неприятности. Ты мне накаркал – у жены, знаешь ли, легочный процесс открылся. Не знаю, теперь на юг мне ее везти или в санаторию положить.

Я говорю:

– Ну, ничего, поправится. Но, конечно, – говорю, – если поправится, то не будет иметь такие грустные глаза.

Он усмехнулся, махнул рукой – дескать, отвяжись – и пошел от меня.

И вот этой весной я встречаю его снова.

Он идет, подняв воротничок своего пальто. Вижу – морда у него расстроенная. Глаза блестят, но смотрят грустно и даже уныло.

– Вот, – говорит, – теперь сам, черт возьми, захворал туберкулезом. После гриппа. Конечно, может быть, и от жены заразился. Но вряд ли. Скорей всего от усталости захворал.

– А жена? – говорю.

Он говорит:

– Она поправилась. Только я с ней развелся. Мне нравятся поэтические особы, а она после поправки весь свой стиль потеряла. Ходит, поет, изменять начала на каждом шагу...

– А глаза? – говорю.

– А глаза, – говорит, – какие-то у ней буркалы стали, а не глаза. Никакой поэзии не осталось.

Тут я попрощался со своим приятелем и пошел по своим делам. И по дороге сочувственно поглядывал на тех прохожих, у кого грустные глаза.

Водяная феерия

Один московский работник кинематографии прибыл в Ленинград по делам службы.

И он остановился в гостинице «Европа».

Прекрасный, уютный номер. Две постели. Ванна. Ковры. Картинки. Все это, так сказать, располагало нашего приезжего видеть людей и приятно проводить время.

В общем, к нему стали заходить друзья и приятели.

И как это всегда бывает, некоторые из его приятелей, приходя, принимали ванну. Поскольку многие живут в квартирах, где нет ванн. А в баню ходить многие, конечно, не так-то любят и вообще забывают об этой бытовой процедуре. А тут такой удобный случай: зашел к приятелю, поболтал, пофилософствовал и тут же помылся. Тем более тут горячая вода. Казенная простынка и так далее.

И многие, конечно, через это любят, когда у них есть приезжие друзья.

Короче говоря, дней через пять наш приезжий москвич несколько даже утомился от подобной неуклонной линии своих друзей.

Но, конечно, крепился до самого последнего момента, когда наконец разыгралась катастрофа.

А к нему как-то вечером пришли почти что сразу шесть знакомых.

Тары да бары, и тут же среди гостей образовалась до этой ванны небольшая очередь.

Трое быстро помылись и, попив чайку, ушли.

Но четвертая была старая дама. Родственница приезжего. И та мылась исключительно долго. И даже, кажется, что-то стирала из своего гардероба.

И до того она там долго возилась, что москвич и ожидавшиеся просто захандрили. Она час с четвертью не выходила из ванны.

Но поскольку она была родная тетка нашего москвича, то он и не разрешил своим друзьям никаких эксцессов по ее адресу.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко за полночь.

Один из приятелей не стал больше ждать и ушел. А другой, удивительно настойчивый и нахальный, все-таки во что бы то ни стало пожелал непременно сегодня вымыться, чтоб ему для чего-то завтра быть чистым.

И вот он дождался теткиного выхода. Вымыл ванну. И пустил горячую воду. И сам прилег на кушетку и стал дожидаться, когда ванна наполнится.

Но тут как-то случилось, что от сильного утомления он заснул. И москвич вдобавок задремал на диване.

А вода, наполнив ванну, вышла наружу и в короткое время затопила номер и даже протекла в другой этаж. Но поскольку в нижнем этаже была гостиная и там никого не было, то катастрофу не сразу заметили.

Короче говоря, наши два приятеля проснулись от сильного тепла и пара. Причем москвичу, как он после рассказывал, снился сон, что он в Гаграх.

Но когда он проснулся, то увидел, что весь номер в воде и поверх плавают туфли, газеты и разные деревянные изделия.

Горячая вода не позволила, конечно, сразу прекратить наводнение, поскольку они не решались добежать до ванны, чтоб закрыть кран. Они, сидя на диванах, не могли рискнуть спустить свои ноги в воду, от которой шел пар.

Но потом, кое-как передвигая стулья и перепрыгивая с одного стула на другой, перетрусивший приятель москвича добрался до ванны и закрыл кран.

И только они закрыли кран и вода стала куда-то утекать, как в номер вбегает администрация с побледневшими лицами.

Осмотрев ванну и нижний этаж, администрация совместно с прибывшим инженером стала о чем-то совещаться.

А среди наших друзей завязался тяжелый спор: кто виноват и кому платить убытки.

Приятель москвича, еле дыша от страха, сказал, что рублей сорок он как-нибудь покроет, но все, что свыше, пусть оплачивает владелец номера, который легкомысленно допускал мыться посторонних.

Тут между ними завязался спор, который мог бы кончиться печально, если б рядом не было администрации.

Москвич дрожащим голосом говорит администрации:

– А скажите, на какую сумму могут быть убытки?

Администрация говорит:

– Видите, внизу в гостиной размыло лепные украшения: одну крупную античную фигуру и трех херувимов. Так что это сильно увеличит расходы.

Услышав о лепных украшениях и херувимах, приятель москвича буквально задрожал.

Москвич, с тоской взирая на администрацию, прошептал:

– А на какую сумму размыло этих херувимов?

Инженер говорит:

– Тысчонок, мы так полагаем, семь-восемь будет стоить эта операция...

Сумма эта совершенно подкосила силы москвича, и он прилег на диван, мало чего сообщая.

А приятель его выказал себя с нехорошей стороны. Он поступил как подлец, пытаюсь, так сказать, дать тигалю. Но был задержан слабой, но честной рукой приезжего.

Приезжий москвич, еле ворочая языком, говорит администрации:

– Тысчонки бы за две нельзя? В крайнем случае не надо мне ставить этих херувимов. Не такое сейчас время, чтоб платить за этих самых херувимов...

Администрация говорит:

– Да вы напрасно горячитесь и торгуетесь. Мы, кажется, с вас убытков не требуем.

Услышав эти слова, приятель москвича закрыл глаза, думая, что это сон.

Но администрация говорит:

– На вас мы не возлагаем никакой вины. Тут наш технический недосмотр. Мы плохо рассчитали утечку воды, и это наша техническая слабость.

Инженер тут же дает научное пояснение. Он говорит, показывая на ванну:

– Видите, тут наверху ванны имеется дырка, в которую вода должна утекать по мере наполнения ванны. И при научно правильном расчете вода не имеет права выйти за пределы краев. Но тут мы выказали некоторую слабость, и дырка, как вы могли видеть, не успела поглотить текущую жидкость. Так что мы просим у вас извинения за причиненное беспокойство. В дальнейшем этого не будет. Мы исправим. Это технические неполадки, которым не место в нашей славной современности.

Услышав эти слова, приятель москвича хотел упасть на колени, чтоб возблагодарить администрацию и судьбу, но приезжий не разрешил ему это сделать.

Он сказал инженеру:

– Конечно, иначе не могло и быть. Но скажите, кто мне возместит убытки: у меня испортились ночные туфли и чемодан подмок, и, может быть, там что-нибудь тоже испортилось благодаря вашей технической слабости.

Администрация говорит:

– Подайте заявление – мы возместим убытки.

На другой день москвич получил сорок шесть рублей за подмокший чемодан.

Притель москвича тоже хотел воспользоваться случаем, чтоб содрать небольшую сумму за счет техники, но это ему сделать не удалось, так как он не имел права ночью находиться в чужом номере.

На другой день он все же пришел в гостиницу и там принял ванну, несмотря на то что москвич был этим крайне недоволен и даже рассердился.

1935

История болезни

Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит – и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

– Что вы, – говорю, – товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, – говорю, – больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его – лекпом, – удивился, что я ему так сказал, и говорит:

– Смотрите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рта не идет от жара, а тоже, – говорит, – наводит на все самокритику. Если, – говорит, – вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

– Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, – говорю, – можно больным такие речи слушать? Это, – говорю, – морально подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор.

И тут сестричка подскочила.

– Пойдемте, – говорит, – больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

– Лучше бы, – говорю, – называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, – говорю, – красивей и возвышает больного. И я, – говорю, – не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

– Даром что больной, а тоже, – говорит, – замечает всякие тонкости. Наверно, – говорит, – вы не выздоровеете, что во все нос суете.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:

– Куда же вы меня, собаки, привели – в дамскую ванну? Тут, – говорю, – уже кто-то купается.

Сестра говорит:

– Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:

– Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, – говорю, – определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.

– Я, – говорит, – первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умиравшая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И, уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, – говорит, – я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере, тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос.

– Вынимайте, – говорит, – меня из воды, или, – говорит, – я сама сейчас выйду и всех тут вас распатрону.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это – нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубашках, а большие – в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубашке больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.

Я говорю сестрице:

– Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, – говорю, – каждый год в больницах лежу, и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.

Та говорит:

– Может быть, вас прикажут положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три.

Сестричка говорит мне:

– Ну, – говорит, – у вас прямо двужильный организм. Вы, – говорит, – скрозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, – говорит, – если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, – говорит, – вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием – коклюшем.

Сестричка говорит:

– Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:

– У нас такое переполнение, что мы прямо не успеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой.

Супруга говорит:

– Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там побраниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел.

И теперь хвораю дома.

1936

Голубая книга

Предисловие

Веселость нас никогда не покидала.

Вот уже пятнадцать лет мы, по мере своих сил, пишем смешные и забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть, а не что-нибудь серьезное, поучительное или досаждающее их жизни.

И мы, вероятно, по своему малодушию, бесконечно рады и довольны этому обстоятельству.

Нынче мы замыслили написать не менее веселую и забавную книжонку о самых разнообразных поступках и чувствах людей.

Однако мы решили написать не только о поступках наших современников. Перелистав страницы истории, мы отыскивали весьма забавные факты и смешные сценки, наглядно рисующие поступки прежних людей. Каковые сценки мы также предложим вашему вниманию. Они нам весьма пригодятся для доказательства и утверждения наших дилетантских мыслей.

Нынче, когда открывается новая страница истории, той удивительной истории, которая будет происходить на новых основаниях, быть может – без бешеной погони за деньгами и без великих злодеяний в этой области, нынче особенно любопытно и всем полезно посмотреть, как жили раньше.

И в силу этого мы решили, прежде чем приступить к новеллам из нашей жизни, рассказать вам кое-что из прежнего.

И вот, перелистав страницы истории своей рукой невежды и дилетанта, мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случилось по весьма немногочисленным причинам. Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события, о которых речь будет дальше.

И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на пять соответствующих отделов.

И тогда мы с необычайной легкостью, буквально как мячи в сетку, распихали наши новеллы по своим надлежащим местам.

И тогда получилась удивительно стройная система. Книга заиграла всеми огнями радуги. И осветила все, что ей надо было осветить.

Итак, в книге будет пять отделов.

В каждом отделе будет особая речь о том предмете, который явится нашей темой.

Так, например, в отделе «Любовь» мы расскажем вам, что знаем и думаем об этом возвышенном чувстве, затем припомним самые удивительные, любопытные приключения из прежней истории и уж затем, посмеявшись вместе с читателем над этими старыми, поблекшими приключениями, расскажем, что иной раз случается и бывает на этом фронте в наши переходные дни.

И то же самое мы сделаем в каждом отделе.

И тогда получится картина полная и достойная современного читателя, который перевалил через вершины прошлого и уже двумя ногами становится в новой жизни.

Конечно, ученые мужи, подобострастно читающие историю через пенсне, могут ужасно рассердиться, найти наше деление произвольным, крайне условным и легкомысленным.

Итак, перед нашим взором пять отделов: «Деньги», «Любовь», «Коварство», «Неудачи» и «Удивительные события».

Отметим, что последний отдел должен быть самый замечательный.

В этом отделе будут отмечены наилучшие, наиболее благороднейшие поступки, поступки высокого мужества, великодушия, благородства, героической борьбы и стремления к лучшему.

Этот отдел, по нашей мысли, должен зазвучать как Героическая симфония Бетховена.

Нашу книгу мы назвали Голубой.

Голубая книга!

Мы назвали ее так оттого, что все другие цвета были своевременно разобраны. Синяя книга, Белая, Коричневая, Оранжевая... Все цвета эти были использованы для названия книг, которые выпускались различными государствами для доказательства своей правоты или, напротив, – вины других.

Нам едва оставалось четыре-пять совершенно невзрачных цвета. Что-то такое: серый, розовый, зеленый и лиловый. И, посудите сами, что таким каким-либо пустым и незначительным цветом было бы по меньшей мере странно и оскорбительно назвать нашу книгу.

Но еще оставался голубой цвет, на котором мы и остановили свое внимание.

Этим цветом надежды, цветом, который с давних пор означает скромность, молодость и все хорошее и возвышенное, этим цветом неба, в котором летают голуби и аэропланы, цветом неба, которое расстилается над нами, мы называем нашу смешную и отчасти трогательную книжку.

И что бы об этой книге ни говорили, в ней больше радости и надежды, чем насмешки, меньше иронии, чем настоящей, сердечной любви и нежной привязанности к людям.

Итак, поделившись с вами общими замечаниями, мы торжественно открываем наши отделы.

И по этим отделам, как по аллеям истории, мы предлагаем читателю прогуляться.

Дайте вашу мужественную руку, читатель. Идемте. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности.

Итак, мы открываем первый отдел – «Деньги», который, в свою очередь, распадается на два отдела: исторические новеллы о деньгах и рассказы из наших дней на эту же тему.

А прежде этого в отвлеченной беседе рисуем общее положение. Итак – «Деньги».

Деньги

1. Мы живем в удивительное время, когда к деньгам изменилось отношение.

Мы живем в том государстве, где люди получают деньги за свой труд, а не за что-нибудь другое.

И потому деньги получили другой смысл и другое, более благородное назначение – на них уже не купишь честь и славу.

2. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и нежную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире.

Но он не только покупал, он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений.

И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там крикливая подслеповатая бабенка без трех передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности.

3. Полоумный дурак, тупица или полный идиот, еле ворочающий своим косноязычным языком, становился остроумным малым, поминутно говорящим афоризмы житейской мудрости. Пройдоха, сукин сын и жулик, грязная душонка которого при других обстоятельствах вызывала бы омерзение, делался почетным лицом, которому охота было пожать руку. И безногий калека с рваным ухом и развороченной мордой нередко превращался в довольно симпатичного юношу с ангельской физиономией.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.